

Автор. Лето 2016 г. Псковская земля

*Избранные очерки и заметки
о писателях России XIX–XX веков*

ДИАКОН ГЕОРГИЙ
(Ю. Г.) МАЛКОВ

Путями Истины...

Выпуск I

А. ПУШКИН

МОСКВА
ММХХII

УДК 82-1
ББК 84(2Рос=Рус)6
М19

Юрий Гр. Малков (диакон Георгий)

М19 *Путиами Истины... / Избранные очерки
и заметки о писателях России XIX–XX вв. Выпуск 1 —
М.: «Вест-Консалтинг», 2022 — 216 с., илл.*

ISBN 978-5-91865-707-2

В книге русского поэта, историка и искусствоведа, диакона Георгия Малкова, рассматриваются некоторые стороны жизненного пути и творчества А. С. Пушкина — как поэта, все сознательные годы своего земного бытия шедшего ко Христу.

© Юрий Гр. Малков (диакон Георгий), 2022

© «Вест-Консалтинг», оформление, 2022

В начале было Слово...

Ев. от Иоан 1,1.

***...Нужно вспомнить человеку, что он
вовсе не материальная скотина, но
высокий гражданин высокого небесного
гражданства. Покуда он хоть сколько-
нибудь не будет жить жизнью небесного
гражданина, до тех пор не придет в
порядок и земное гражданство.***

Н. Гоголь

***Россия не может навсегда остаться
домом умалишенных; ей уготованы другие
судьбы.***

Их надо предвидеть и понимать...

Н. Тальберг

Да, даром это не пройдет...

Ив. Бунин

ОТ АВТОРА

Эта книга предназначена для самых широких читательских кругов и призвана заинтересовать каждого, взявшего ее в руки, судьбой и духовным наследием ряда писателей и поэтов России, как и некоторых ее философов и богословов, — иначе говоря, самых разных (порой абсолютно противоположных — как по духу, так и по своим устремлениям) авторов.

Книга разделена на три части и потому выходит в трёх выпусках.

Первый выпуск целиком посвящен А. Пушкину, второй — Н. Гоголю, некоторым из «славянофилов», «оптинцам», «святителям» — Филарету (Дроздову), Игнатию (Брянчанинову), а также Ф. Тютчеву. Ф. Достоевскому, К. Леонтьеву. В третьем выпуске речь пойдет о совершенно разных авторах, писавших в XX веке: А. Блоке, В. Набокове, М. Горьком, А. Зиновьеве, А. Солженицыне и ряде других. Соответственно — и о том пути, которым шел каждый из них..

Все, все они не были равнодушны к «вопросу о России»: пусть одни ее любили, а другие — не очень или даже не любили ее вовсе.

Но и для первых, и для вторых, — она всегда являлась важнейшим понятием в самой системе их бытия и в их разумении жизни, хотя и воспринимали они страну в целом — порой совершенно по-разному.

Для одних Россия — христианское (и в любом случае — родное) Отечество, за тысячелетие своей истории перенесшее

немало испытаний — войн, междоусобных браней, расколов и революций.

Для других — достаточно чуждая им страна, с явно, мол, больной «имперской психикой», и потому — чуть ли не даже и некая «тюрьма народов», — страна, требовавшая, по их мнению, для дальнейшего своего существования каких-то «подлинных» (в отличие от существовавших тогда) «справедливостей» и «свобод», — т. е. полного слома прежних форм ее бытия, что со временем и воплотилось в стране со странным «буквенным» названием — «СССР»...

И вполне естественно, что здесь будет сказано — и о первых, и о вторых.

При этом следует заметить, что речь в книге идет не только о «классиках» *«светской»* русской дитературы — как преимущественно всё-таки и было ранее: например, о Пушкине, Гоголе или Достоевском, но также и о таких достаточно известных, однако, сугубо *церковных* писателях, как митрополит Филарет (Дроздов) или епископ Игнатий (Брянчанинов). Говорится здесь и о некоторых «славянофилах» — И. Киреевском и А. Хомякове.

Никак не мог я пройти мимо и весьма любопытного представителя русской религиозно-философской мысли — священника П. Флоренского — как и ряда достаточно показательных для той послереволюционной поры (и в своем роде — тоже весьма уникальных авторов) — прот. С. Булгакова, философов — Н. Бердяева и С. Франка, а также выдающегося богослова-мирянина середины прошлого века В. Лосского.

Несколько страниц посвящено здесь и отдельным сторонам творчества известных в пору Русского Зарубежья — авторов-эмигрантов: писателя Ив. Шмелева и публициста-политолога Ив. Ильина.

Предлагаемые ныне читателю мнения автора о тех или иных (как собственно русских, так и «советских») писателях частью публиковались и ранее — например, в составе таких моих книг,

как «Русь Святая»* и «Контрреволюция духа»**, или же в виде отдельных очерков в Интернете***.

Часть же имеющихся здесь текстов ранее не появлялась в печати вовсе.

По сути, в книге сведено воедино всё то, что было написано мной на протяжении последних лет двадцати — на «литературную тему»; причем написано так и тогда, как и когда отзывалась моя душа на контекст нашей эпохи, самой нашей жизни...

При этом мне всегда особо дороги были слова Н. В. Гоголя: «В решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество... я должен сделать клич, хотя [бы]**** к тем, у которых еще есть в груди Русское сердце и понятно сколько-нибудь слово благородство»*****

Ну а тому — какими смыслами были наполнены гоголевские слова «клич» и «благородство», что стояло за ними? — собственно и посвящена моя книга: ведь именно подобными словами неизменно определялась, как и продолжает определяться по существу — вся *подлинно русская* литература...

И именно поэтому автор предварительно считает необходимым обратить внимание читателей на то, что книга эта представляет собой до известной степени явление общественно-духовное, ибо эта сторона жизни неизменно присутствовала

* Русь Святая. Очерк истории Православия в России. М., изд-во «Правило веры», 2002. 622 с.

** Контрреволюция духа (церковно-политические очерки). М., изд-во «Белый берег», 2006. 581 с.

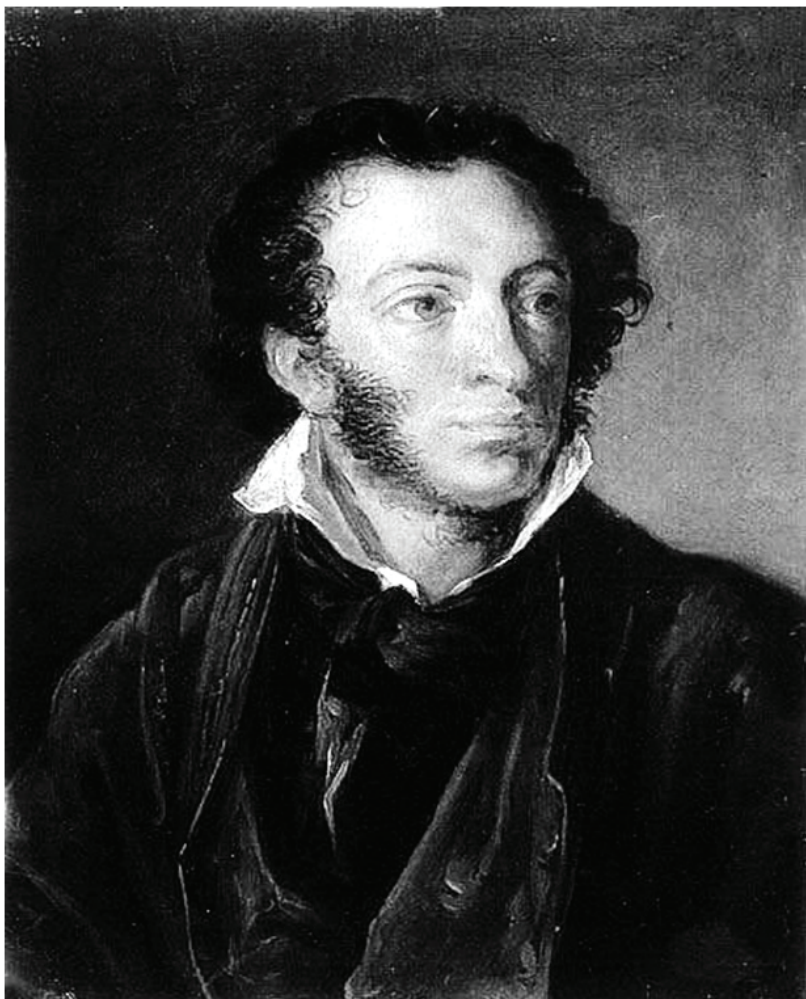
*** На сайтах: «Богословие РУ», «Православие РУ», Информационно-аналитическое агентство «Русская линия», Информационно-аналитическое агентство «Русская народная линия» и на некоторых иных.

**** При цитировании мной чьих-либо текстов — порой даются (в квадратных скобках) мои (диакона Георгия) пояснительные слова.

***** *Гоголь Н. В.* Мертвые души. Том второй... // Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Т. 4. СПб., 1857. С. 533.

и продолжает присутствовать в действительно «серьезной» части отечественной литературы.

Но главное в книге — это те самые «Пути Истины», которыми шли или *не шли* писатели России, видевшие эту «Истину», увы, совершенно по-разному: одни — любившие ее и стремившиеся к ней, и другие — ничего толком о ней не знавшие, а потому всю жизнь и пытавшиеся о ней лгать — и себе, и другим.



*А. С. Пушкин. 1827 г. Эскиз портрета.
Художник Василий Тропинин.*

«ВЫСОКИЙ ЛИК...»

(ПУШКИН И ДР.)

*Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиление!*

А. Пушкин

Пушкин – мыслитель.

Е. Боратынский

Веленью Божию, о муза, будь послушна...

А. Пушкин

О «ПУШКИНСКОЙ» ПРАВДЕ (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

В явственно уже уходящую. в — слава Богу! — постепенно умирающую ныне эпоху охранительно-воинствующего «большевизма» многие идеи *подлинно русской* литературы, бывшие некогда под запретом коммунистической власти, вновь восстанавливают хранившуюся в них — порой веками — историческую правду и естественный, «нормальный» человеческий смысл...

Российское Самодержавие несло в себе — по крайней мере в XIX-ом и в начале XX-го столетий — немыслимый для сегодняшних «духовно-свободных цивилизаций» заряд христианского, вполне реального идеализма и того совестливого милосердия, что сегодня представляется, увы, еще столь многим — излишне наивным и слишком уж человеческим.

Другие же просто говорят: «Царизм? Монарх? — Мерзость и глупость!» Но ответьте, пожалуйста, сами себе: кто мой друг? — и каждый тут же поймет — кто он сам...

Многие ли из наших сограждан знают вот такие простые цифры? Известно, что, например, при «проклятом царизме» (когда человечество в общем еще не слишком играло в «толерантность», и всюду еще существовали смертные казни), — с 1826 года и до прискорбных (достаточно революционных) 1905–1906 гг. — в России по решению законных судов были

приговорены к смертной казни 612 человек (считай за восемьдесят лет! — т. е. «в среднем» по 7–8 человек в год), в то время как большевицкие «органы ВЧК» (Всероссийской чрезвычайной комиссии по делам контрреволюции и саботажа) — антирелигиозные и антимонархические — только в 1918 году и за 7 месяцев 1919 года расстреляли 8389 человек! Иначе говоря, «хорошие» большевики убивали за месяц приблизительно в 73 раза больше, чем «плохие» монархисты! (И это — по явно еще заниженным данным, приведенным ведущим «чекистом» Лацисом)*.

...Умнейшие люди России, подлинные ее патриоты — Жуковский, Пушкин, Гоголь, Тютчев, Достоевский — были последовательными монархистами, глубоко преданными идее Самодержавия, отрицавшими положительный духовный смысл и общественную правду так называемой «демократии».

Сегодня мало уже кто помнит те времена, когда Пушкина предлагалось «сбросить с корабля современности», а имена Тютчева, Достоевского или Лескова пребывали порой фактически под запретом — как авторов, якобы воспевавших в своем «ядовитом» творчестве «проклятый царизм» и «помещичью Русь» и, главное, люто, мол, ненавидевших «светлое будущее» «свободной революционной» России.

Постепенно этот накал ГПУ-шно—НКВД-шных страстей, однако, спал, и «кремлевские мудрецы», поняв, что прежняя позиция советской власти в отношении старорусской культуры становится всё более и более неприличной, решили попросту приспособить «прежних» авторов к «новой», «СССР-овской» жизни, всячески пытаясь выхолостить и опрIMITивить содержание их творчества.

* *Лацис (Судрабс) М. С.* Два года борьбы на внутреннем фронте. М.: 1920. С. 24.

Так вот и Пушкин («это» — еще по давнему определению поэта и публициста Аполлона Григорьева — «наше всё»*) оказался вдруг чуть ли и не самым первым в России поэтом-«революционером», супер-демократом и, вроде бы, даже супер-патриотом. Чуть ли не «декабристом»-рреволюционером!

Именно так он и подносился ученикам прежней советской школы (хорошо помню это и сам!), и именно таким он и доньше остается (сколь это ни дико!) в головах еще многих, увы, слишком многих наших сограждан.

Еще в конце XIX века Д. Мережковский говорил о непонимании Пушкина и самого смысла его творчества так: «Еще раз, через 60 лет после смерти, великий поэт оказался не по плечу своей родине, еще раз восторжествовал дух Булгарина, дух Писарева...»

И вот — по прошествии еще века с четвертью — мы, по сути, можем в основном повторить его слова: и сегодня Пушкин, увы, чаще всего так же оказывается нам «не по плечу»: «духи анти-России», как и прежде, стараются всячески исказить исторический образ нашего великого соотечественника и самую суть его поэзии.

...Однако Пушкин, слава Богу, не учился истории литературы — в советской школе! И, не имея потому никакой вынужденной зашоренности духовного зрения, обучался в школе самой жизни — и тем ее «идеям», что самым естественным образом предлагались его сознанию — ею же самой.

* В 1859 г. А. Григорьев писал о поэте: «Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности... не только в мире художественных, но и в мире всех общественных и нравственных наших сочувствий — Пушкин есть первый и полный представитель нашей физиономии...» Сочинения Аполлона Григорьева. Т. I. СПб., 1876. С. 238–239).

Будучи еще совсем молодым человеком, Пушкин, действительно, легко и в достаточной степени почти бездумно заражался «революционными» идеями предательского, воспитанного на безбожном духе «просвещенчества», будущего «декабризма» и был внутренне вполне способен еще 18–19-летним сочинять стихи типа «К Чаадаеву», где поминались и «минуты вольности святой», и «обломки самовластья» и прочее — и всё в том же роде*...

Тогда некоторые из участников войны с Наполеоном — офицеры, вернувшиеся из Франции и подотравленные ее «революционным» пафосом (как одно время тот же Чаадаев) — мечтали об этой самой псевдо-«вольности», соблазняя ею и юношество... Состоявшееся во время войны близкое соприкосновение потенциальных «прогрессистов» из России со значительно революционизированным и атеизированным уже в ту пору Западом — с его лукавой и соблазнительной для многих либеральной идеей самостной антихристианской псевдо-свободы — привело их к идее свержения Русского Самодержавия (с тайной жадной — в духе французского якобинства — жестокого царубийства) и установления в России республиканского («демократического» типа) государственного строя.

Результатом такой «идеологии» и явилось создание в России заговорщических обществ, а затем и преступный бунт так называемых «декабристов» в самом конце 1825 года.

Тягостное влияние западных атеистических идей на русское общество той поры известный церковный историк середины XIX в., архиепископ Филарет (Гумилевский) характеризовал

* И сегодня, увы, в Интернете можно встретить подобные строки о Пушкине: *«Он создавал не только лирические стихи, но и сказки. историческую прозу и произведения в поддержку революционеров — за вольнодумство поэта даже отправляли в ссылки».*

Да — как грех юности — встречались у него в ту пору и такие стихи, но сам поэт, «повзрослев» духовно, впоследствии же и заявлял, что ему попросту стыдно за ряд давних своих опусов....

следующим образом: «Злостными клеветами энциклопедистов на религию увлекались до того, что не только забыли думать о религии как об основе гражданского благоустройства, но боялись ее. Под фирмой гуманизма отворяли дверь настежь неверию, распутству и суеверию, как будто все это не унижение человечеству. Писали и хлопотали о человечности, о свободе и правде, а не понимали, что без христианской основы все это — хуже, чем мечты, так как на практике оказывается деспотизмом эгоизма...»*

Только лишь в атмосфере, по сути, антихристианских и антимонархических идей — и могли рождаться политические движения в духе будущего заговора «декабристов».

Поначалу такого рода идеи находили известную поддержку у части общества, и им до известной степени одно время симпатизировал, например, и молодой Пушкин.

Впрочем, подобные заблуждения продолжались у него недолго. Повзрослев и духовно опомнившись, он стал предельно последовательным монархистом, о чем сохранилось немало свидетельств — как в его собственных высказываниях, в его творчестве и письмах, так и в воспоминаниях о нем его друзей. И недаром в одном из писем (к тому же Чаадаеву) Пушкин позднее писал: «лично я сердечно привязан к Государю!»**

И, действительно, что мог он найти среди «декабристов» — этих заблудших в дебрях западного Просвещения и псевдо-религиозного масонства неудавшихся цареубийцах, до сей поры почитающихся частью наших «либералов» чуть ли не романтиками-героями и свободолюбивыми «прогрессистами», впоследствии же ставшими чуть ли не «просветителями» в их ссыльной сибирской глуши? И это — вместо того, чтобы воспринимать их лишь как бесчестных нарушителей воинской присяги и позор

* Цит. по: *Тальберг Н. Д.* История Русской Церкви. Джорданвилль, 1959. Т. 2. С. 577.

** *Пушкин А. С.* Письмо П. Я. Чаадаеву 19 октября 1836 г. // *Он же.* Собрание сочинений: в десяти томах. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1962. Письма 1831–1837.

российского офицерства, — как несчастных, о которых можно только молиться, чтобы им были прощены их преступления перед Богом и Родиной*...

И именно такое понимание Пушкиным самого явления «декабризма», именно эта трезвая сторона его души, как и возобладавший в нем в итоге взгляд подлинного аристократа и на демократию, и на монархию — особенно исказались или попросту всячески (и якобы «научно») замалчивались и старательно замазывались советскими исследователями его творчества, никогда особо и не заботившимися об исторической правде вообще. Некоторые из них лукаво, а некоторые и вполне ис-

* Разумеется, было бы нелепым выбросить «декабристов» из истории России вообще, но определить подобающее им место в ней — безусловно необходимо. Тем более, что некоторые из них (по мнению ряда исследователей «декабризма») позже вполне искренне раскаивались в преступлении, содеянном ими в молодые годы... Так, брат позорно повешенного Сергея Муравьева-Апостола и т оже «декабрист» — Матвей (сконч. в 1886 г.) после своего возвращения из сибирской ссылки поддерживал дружеские отношения с Достоевским и, как и тот, весьма отрицательно относился к всевозможным «либералам». Более того, в некрологе, ему посвященном, ясно говорится о том, что, когда — по прибытии из Сибири — «Матвей Иванович поселился в Твери, тогда местные либералы... титуловали его мучеником и выражали сочувствие, что 14-е декабря не имело успеха. Они очень удивились и даже разочаровались насчет его, когда Матвей Иванович сказал им, что они [«декабристы»] никогда не считали себя мучениками, а покорялись законам своей земли; что правительство обязано блюсти государство; что он всегда благодарил Бога за неудачу 14-го декабря; что это было не Русское явление, что мы жестоко ошибались, что конституция вообще не составляла счастья народов, а для России в особенности не пригодна» («Русский архив». 1886, № 5. С. 144). И когда в годовщину 14 декабря либералы поднесли ему лавровый венок, Матвей Иванович отреагировал на это следующим образом: «В этот день, — воскликнул он, грозно размахивая тростью, — надо плакать и молиться, а не праздновать!», а затем всех их, вместе с их гнусным венком, попросту выгнал...

кренне — обрабатывали «социально-политический» большевицкий «заказ»: превратить Пушкина чуть ли не в «революционера». А это — уже изначально! — было вопиющей ложью*.

Вот, что писал, например, «застрельщик» «радикальной» большевицкой «гримировки Пушкина под декабриста»** — признанный глава поэтов-«символистов» В. Я. Брюсов: «представлять Пушкина "коммунистом", конечно, нелепо, но что Пушкин был революционер, что его общественно-политические взгляды были *революционные* как в юности, так и в зрелую пору жизни и в самые ее последние годы, это — мое решительное убеждение»***.

Ложь? Безусловно...

* Как это делалось подобными «литературоведами» — хорошо показал, например, Виктор Есипов в своей большой статье о «Занисках» А. О. Смирновой-Россет и о длительном, растянувшемся чуть ли не на полтора столетия, шельмовании ее текстов (якобы недостойных серьезного отношения со стороны «подлинной науки»). При этом «подлинную науку» неизменно представляли как отдельные представители давней (либерально или даже вполне уже революционно настроенной) части интеллигенции, так и (затем) коммуно-советские (причем неважно — вполне искренние или же попросту продажные) «специалисты». (см.: Есипов В. «Подлинны по внутренним основаниям...» // журн. «Новый мир». 2005. № 6. И, замечу, недаром, как пишет В. Есипов. «вопреки возмущенным сетованиям Щеголева, Крестовой... на то, что «кое-кто из исследователей все еще считается с сообщениями этих "Записок"», вышло так, что этими "кое-кто" оказывались в разное время А. Н. Веселовский, Д. Мережковский, Н. Лернер, С. Франк, П. Бицилли, митрополит Анастасий (Грибановский), Ю. Тынянов, В. Набоков и многие другие исследователи пушкинского наследия». (См. там же). Чуть подробнее о «Записках» см. также ниже.

** Это выражение взято мной из статьи — см.: Николай Гуданец. «Пропать комплиментов», или Партизан в тылу самодержавия... // Журн. «Крещатик». 2010. № 1.

*** Брюсов В. Я. Мой Пушкин. М.—Л., 1929. С. 301.

И лживость или, скажем, во всяком случае — «внутреннюю неправду» такого утверждения со стороны В. Брюсова (предположим, что он тут всего лишь искренне «заблуждался») подтверждает запись, сделанная Пушкиным в дневнике 17 марта 1834 г., где он прямо пишет о «декабристах» — как о мечтателях-«цареубийцах»: «...покойный Государь [Александр I] окружен был убийцами его отца [Императора Павла]. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины. NB. Государь, ныне царствующий [т. е. Николай I], первый у нас *имел право* [курсив мой. — *д. Г. М.*] и возможность казнить цареубийц или помышления о цареубийстве [что и было столь характерно именно для «декабристов»]; его предшественники принуждены были терпеть и прощать...»*

О «пушкинской» *правде* — я и хочу сказать далее в этих заметках, посвященных, главным образом, именно ей, а потому и благодарной его памяти — нашего, русского поэта...

* Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти тт., Л., 1978. Т. VIII. С. 31. Вообще Государь Николай I у многих деятелей отечественной культуры вызывал самые добрые и уважительные чувства. Так в своих воспоминаниях композитор М. Глинка (создавший, как известно, к тому же, оперу «Жизнь за Царя», 1836 г.) пишет о нем с явной симпатией. Оказавшись на Дворцовой площади в декабре 1825 г. — когда там как раз выступили «декабристы» — Глинка впервые увидел Государя: «До сих пор у меня ясно сохранился в душе величественный и уважение внушающий вид нашего Императора. Я до сих пор никогда не видал его. Он был бледен и несколько грустен; сложив спокойно руки на груди, пошёл он тихим шагом прямо в середину толпы и обратился к ней со словами: "Дети, дети, разойдитесь!"» (Глинка М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 239).

1. А. ПУШКИН О «ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ КОПЫТЕ»

Прежде всего обращу внимание читателей на замечательную совместную, пушкинско-гоголевскую оценку духовно-политического, государственного института монархии в целом..

Н. В. Гоголь, касаясь монархического устройства России и приводя трезвое мнение по этому поводу самого Пушкина, отмечал: «Как умно определял Пушкин значение полномощного Монарха!.. "Зачем нужно, говорил он, чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и не братское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь, нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномощной власти...

Государство без полномощного Монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт... блюдет он общий строй, всего оживитель, "верховодец верховного соглашения". Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значенье великих истин!..»*.

* Гоголь Н. В. «Выбранные места из переписки с друзьями» — X. «О лиризме наших поэтов» (из письма Н. В. Гоголя к В. А. Жуковскому, 1846 г.) // Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Т. III. СПб., 1857, С. 366–367.

И далее Гоголь, исходя из такой мудрой пушкинской позиции, продолжает, излагая уже и собственный взгляд на монархию как таковую — в лице непосредственно Российского Самодержца: «...страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощения татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного; дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот в государстве, всё потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в самом себе ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул Царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этой святой бранью и всё придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия»*.

Другое дело (и об этом здесь следует сказать обязательно), что необходимо четко отделять самый принцип монархии как таковой, ее потенциальные возможности доброго мироустройства — от той, искаженной ее формы (чреватой общественными кризисами), в которой она именно и существовала в России в течение, например, XVIII века, — подмятая, по сути, верхами служилого дворянства. Об этом, в частности, в свое время верно заметил И. Солоневич: «Те курсы истории, которые мы учили в наших гимназиях образца 1910 года были почти сплошным обманом [классического либерального толка. — *д. Г. М.*]. Нам не сказали самой важной вещи: крепостного права в России не было, пока была жива монархия, и оно было введено только после того, как монархию удалось заменить порнократией — ибо ни Екатерины, ни Елизаветы никакой властью не были: были только

* Там же. С. 309–310.



*А. С. Пушкин. 1827 г.
Художник Василий Тропинин.*

*Окончательный (несколько всё же «приглаженный» —
в сравнении с эскизом) «вариант» портрета.*

вывеской, под прикрытием которой дворянство попыталось перестроить Россию по польскому образцу: белая и черная кость, шляхта и быдло. И первый же законный монарх [после серии предшествовавших дворцовых переворотов XVIII-го же столетия. — *д. Г. М.*] — Павел I был убит за первую попытку ликвидации этого всероссийского позора. И за ликвидацию его был убит его внук*.

По сути, «позором» России считал крепостное право и Император Николай I, однако, так и не решившийся разворошить это старое и особенно страшное тогда (из-за явного противодействия дворян-крепостников) гнездо...

...Поначалу «декабристские» идеи, совершенно чуждые подобному взгляду на Российскую государственность, как уже говорилось, находили известную поддержку у части общества — в том числе и у Пушкина. Однако с ростом жизненного опыта у него достаточно скоро наступило необходимое духовное отрезвление. Став убежденным государственным-монархистом, он — со все более нараставшей в нем лушевной брезгливостью отзывался о демократических началах в обществе, замешанных по большей части на эгоистическом индивидуализме — причем, как правило, с подспудной атеистической подоплекой.

Так, Пушкин, упоминая о Франции — в заметке «Об «истории поэзии» Шевырева», без всяких обиняков называет существующую там демократическую форму правления попросту (и напрямую!) «отвратительной» — вот его слова: «Франция, *средоточие Европы*, представительница жизни общественной, жизни всё вместе эгоистической и народной... Народ (*der Herr Omnis***) властвует [в ней] со всей отвратительной властью

* *Солоневич И.* Коммунизм, национал-социализм и европейская демократия. М., «Москва», 2003. С. 50–51.

** «Господин Всякий» [примеч. Пушкина (*немецк. и латинск.*). — *д. Г. М.*].



*А. С. Пушкин. 1827 г.
Художник Орест Кипренский.*

Кстати, как Пушкин оценил — чуть-чуть все же «приукрашивший» его — портрет работы Тропинина, нам, вроде бы, и неизвестно, но, вот, в отношении портрета, написанного О. Кипренским (в том же 1827 году), поэт высказался следующим образом: «Себя как в зеркале я вижу, / Но это зеркало мне льстит...»

демократии. — В нем все признаки невежества — презрение к чужому, *une morgue pétuante et tranchante** etc.»**.

Какая же чуть позднее — в одной из своих литературно-критических статей 1836 г. — сущности демократического «уложения» (то есть — системы власти), например, в Америке, Пушкин не менее резко утверждал, что «среди «глубоких умов» прежде, мало осмысленное уважение к этому плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства, со стороны избирателей алчность и зависть, со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному ostracism; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами»***.

О том, что народ, не имеющий «дворянства» (как сословия, как необходимо ответственной и наиболее образованной части общества, сохраняющей своего рода *традицию нации*, а потому и отрицающей всякую «демократию»), не может, по сути, претендовать на подлинное величие, — об этом поэт говорил не раз. И эту свою идею (связанную также и с мыслью о подлинном патриотизме) он весьма точно выразил в одной

* «спесь необузданная и самоуверенная» [примеч. Пушкина (*франц.*). — д.г. м.].

** Пушкин А. С. Об «истории поэзии» Шевырева // *Он же*. Собрание сочинений в 10 томах. М., ГИХЛ, 1959–1962. Том VI. Критика и публицистика. 1824–1836.

*** Пушкин А. С. Джон Теннер // *Он же*. Полное собрание сочинений в 9-ти тт. Изд-во «Academia», 1936. Т. VIII. С. 234–235.

из неоконченных статей («болдинского» периода) — в материалах 1830 года, где им было сказано следующее:

«Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. Смотря около себя и читая наши летописи, я сожалел, видя, как древние дворянские роды уничтожились, как остальные упадают и исчезают, как новые фамилии, новые исторические имена, заступив место прежних, уже падают, ничем не огражденные, и как имя дворянина, час от часу более униженное, стало наконец в притчу и посмеяние разночинцам, вышедшим во дворяне, и даже доусужим балагурам!

Образованный француз или англичанин дорожит строкою старого летописца, в которой упомянуто имя его предка, честного рыцаря, павшего в такой-то битве или в таком-то году возвратившегося из Палестины, но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории.

Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. И у нас иной потомок Рюрика более дорожит звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т. е. отечества»*.

Явным сожалением о постепенном уходе былой «боярской» и дворянской России в, увы, наступавшее историческое небытие отмечены и строки Пушкина в небольшом фрагменте незаконченной им сатирической поэмы «Родословная моего героя», где он говорит:

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнее блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух <...>

* См.: *Пушкин А. С.* Опровержение на критики. <http://pushkin-lit.ru/pushkin/text/articles/article-056.htm> (Интернет-источник).

Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

К концу жизни, постепенно всё более и более духовно трезвея, поэт становился и всё более промонархически настроенным, о чем говорят нам прямые свидетельства близких ему лиц.

Так, судя по «Запискам» А. О. Смирновой-Россет, он говорил, что само «слово «демократия» в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишенным почвы»*.

Так был ли Пушкин — этот аристократ духа — «царистом?»

Да, был! Он постепенно шел к этому, и в итоге — стал им... Решительным монархистом!**

И не зря В. А. Жуковский в письме к отцу А. С. — С. Л. Пушкину (от 15 февраля 1837 г.), рассказывая тому о последних, «после-дуэльных» днях его сына, приводил, в частности, и такие предсмертные слова поэта о Государе:

«Скажи [Ему], что мне жаль умереть; был бы весь Его»***.

И подтверждение тому, что столь искренний порыв поэта был вполне оправдан и вполне искренен, можно найти

* *Смирнова-Россет. А. О. Записки. Изд. 1895—1897 гг.*

При этом следует, пожалуй, добавить, что слова эти были произнесены поэтом в присутствии нескольких лиц, и слышавшие их — неоднократно затем и упоминали о них в своих записках...

** О глубоко осмысленном монархизме Пушкина — см. также статью в «Интернете»: *Гайда Ф. «История новейшая есть история христианства»: пушкинский взгляд на Россию и Российское государство» — «Православие. RU».*

*** *Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе. 10-е изд. Спб, 1901. С. 907. И слова эти, замечу, были произнесены им так же в присутствии круга друзей...*

также в воспоминаниях его ближайшей доброй знакомой — А. О. Смирновой-Россет — в рассказе о том, как близкий ее приятель Николай Киселев был у Императора Николая I-го в тот самый момент, когда Государь получил записку о предсмертном состоянии Пушкина в результате его дуэли с Дантесом. «Он [Киселев] видел Государя 28-го числа, и был поражен его мрачным и раздраженным видом.

В присутствии Киселева принесли записку от [врача] Арендта с известиями о Пушкине. Его Величество сказал Киселеву: "Он погиб; Арендт пишет, что он проживет еще лишь несколько часов, и удивляется, что он борется так долго. Что за удивительный организм был у него! Я теряю в нем самого замечательного человека в России". На лице Государя отражалось такое огорчение, что Киселев удивился, — он не думал, что Государь так высоко ценит Пушкина»*.

Что ж, верно, и Император понимал, что Пушкин — как отмечал в своем письме Великому Князю Михаилу Павловичу приятель поэта, князь П. А. Вяземский — «никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был глубоко, искренне предан Государю, он любил Его всем сердцем, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к Нему. В своей молодости Пушкин нападал на правительство, как всякий молодой человек, [ибо] такую была и эпоха, и молодежь, современные ему. Но он был не либерал, а аристократ — и по вкусу, и по убеждениям. Он открыто бранил падение прежнего режима

* См.: «Записки» А. О. Смирновой. Раздел «Смерть Пушкина» — (<http://pushkin-lit.ru/pushkin/vospominaniya/smirnova-rosset-smert-pushkina.htm>). Между прочим следует также заметить, что Ольга Смирнова, ее дочь, публикуя «Записки» своей матери, заявляла следующее: «Я утверждаю и то, что говорили и писали все истинные друзья Пушкина: [а] именно, что Император Николай не только оценил и понял Пушкина, но и всегда о нем сожалел и не забывал его. Его смерть была для него очень прискорбна» (Там же).



*Последний прижизненный портрет А. С. Пушкина.
Кон. 1836 или даже самое нач. 1837 г.
Художник И. Линёв.*

во Франции, не любил июльского правительства и сочувствовал интересам Генриха V*. Что касается восстания Польши, то его стихи могут дать истинную оценку его якобы «либерализму»... это исповедание его политических убеждений...

Он был противником свободы печати не только у нас, но и в конституционных государствах. Его талант, его ум созрели с годами, его последние и, следовательно, лучшие произведения: «Борис Годунов», «Полтава», «История Пугачевского бунта» — монархические**.

Поэтому-то — по выяснении сугубо монархического настроения Пушкина — Государь и расстался с поэтом (после известной встречи их в московском Кремле) вполне дружески...

И недаром вечером того же дня, встретившись на балу с графом Блудовым, Николай сказал ему: — Знаешь, я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России? — С кем же? — поинтересовался тот.

— С Пушкиным, — ответил Государь*** ...

И тут Николай был абсолютно прав. Причем, прежде всего, с точки зрения государственно-политической, ибо Царь был именно «государственником» и не мог не заметить сходства в этом отношении позиции поэта со своей собственной.

Пушкин, как и сам Николай, как и все ближайшие пушкинские приятели, был, безусловно, тоже государственником-

* Здесь имеется в виду типично монархическое отношение Пушкина к «июльской революции» 1830 г. во Франции, а также упомянут Генрих V — малолетний герцог Бордосский (сын герцога Беррийского), в пользу которого отрёкся от престола Карл X. В феврале 1831 г. — в годовщину смерти герцога Беррийского в Париже была проведена промонархическая демонстрация — в форме торжественной панихиды. Но в дальнейшем удача сторонникам Георга V не сопутствовала. (Примеч. д. Г. М.)

** Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1989. С. 534.

*** В частности об этом имеется свидетельство П.Н. Бартенева (см. «Русский архив». 2865. С. 96 и 389).

«имперцем» и иным в ту пору — то есть, по сути, тогдашним анти-общественно настроенным либералом — быть уж никак не мог. Ведь именно «империя», имперская государственность и являлись *тогда* формой предельной стабильности, наибольшей крепости и мощи государства, что, разумеется, было понятно Пушкину. Никакого сомнения или несогласия не вызывали у него и действия Империи в отношении «малых народов» (как и прежде, продолжавших жить на своих исконных землях, волей истории оказавшихся в имперских границах) — поскольку все необходимые жизненные права проживавших там были вполне обеспечены. Если же тут возникали какие-то проблемы, то Пушкин вполне мог выразить и свое протестное мнение — так было, когда он выступал против дальнейшего закрепощения крестьян, например, в тогдашней Малороссии.

Не мог иначе смотреть он на всё это, потому что был внутренне глубоко порядочным человеком — человеком чести! Да, собственно говоря, он был так и воспитан с детства. С одной стороны — в любви к самой России (с ее имперской стабильностью) и, соответственно, в уважении к ее же имперской власти, но с другой — в любви к свободе как неотъемлемой части любого ответственного пред Богом и обществом человека.

И, уверен, именно такое отношение Пушкина к понятию свободы и помогло ему переболеть ее соблазнами, преодолев их — и дешежку «запредельной» «революционности» (в юные годы — по юношески же и воспринимаемой), и соблазны либерализма наихудшего образца (выдаваемые зачастую за «гуманизм», но всё равно замешанного на воспоминаниях о «Великой французской»), — на что поэтом и был тогда же дан жесткий отпор (в связи с польским бунтом 1831 года).

...В течение всего последнего десятилетия своей жизни Пушкин неизменно сохранял предельно уважительное отношение к Николаю, и недаром мы встречаем в одном из его писем 1834 года слова о том, что Император Николай I: «...донуине был более моим благодетелем, нежели Государем... ничто не изменит

чувства глубокой преданности моей к Царю и сыновней благодарности за прежние Его милости»*.

К сожалению, Царь, будучи, прежде всего, политиком и не особо разбираясь в тонкостях отношений с творческими натурами, не считал желательным в дальнейшем, так сказать, «реформатировать» саму оценку личности и политических взглядов Пушкина, имевшуюся у Государева же ставленника Бенкендорфа. Тот же, увы, был весьма в общем недалеким и достаточно примитивно мыслящим «чиновником», хотя лично и храбрым воином — и даже, можно сказать, героем войны 1812 года.

Но как раз такой двойственный характер внутренней политики и был типичен для Николая I, а это в итоге не могло не сказаться как на судьбе всей страны, так и того же Пушкина, до самой кончины последнего считавшегося Бенкендорфом все-навсего опасным «либералом» — и не более того**. Что при этом вовсе не мешало Царю говорить о Пушкине — как об «умнейшем» и даже «замечательнейшем» человеке в России...

...Пушкинская трезвая государственническая позиция неоднократно вспоминалась поздней — в трудах наших философов,

* Вересаев В.В. Пушкин в воспоминаниях современников — друзей, врагов, знакомых... М., 2017. С. 238.

** Увы, в III Отделении, возглавлявшемся графом Бенкендорфом, о Пушкине нередко писали примерно вот так: «...Этот господин... проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец, деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Этот честолюбец, пожираемый жаждой вожделений, как примечают, имеет столь скверную голову, что его необходимо будет проучить, при первом удобном случае. Говорят, что Государь сделал ему благосклонный прием, и что он не оправдает тех милостей, которые Его Величество оказал ему» (М.Я. Фон Фок, в донесении графу Бенкендорфу, 17 сентября 1826 г. — Вересаев В.В. Пушкин в воспоминаниях современника — друзей, врагов, знакомых... М., 2017. С. 12–13). Пушкин, безусловно, отнюдь не был ангелом, но тут — явный и предельно нарочитый «перебор»!

политологов, публицистов (прот. Иоанн Восторгов, В. Розанов, Л. Шестов, С. Франк, Ив. Ильин и мн. др.).

Вот как, например, характеризовал революционную историческую катастрофу всей «законной» российской государственности известный наш мыслитель и публицист Ив. А. Ильин: «...крушение монархии было крушением самой России, отпала тысячелетняя государственная форма, но водворилась не "российская республика", как о том мечтала революционная полу-интеллигенция левых партий, а развернулось всероссийское бесчестие, предсказанное Достоевским, и оскудение духа, а на этом духовном оскудении, на этом бесчестии и разложении вырос государственный Анчар большевизма, пророчески предвиденный Пушкиным, — большое и противоестественное древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему миру на гибель»*.

В связи с этим Ив. Ильин делает и более общий вывод о том, что в 1917 г. часть русского народа впала «в состояние черни**» (о которой, в связи с ее бездуховностью, нередко — и с таким глубочайшим презрением — вспоминал Пушкин), а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами. В этом году... русский народ развязался, рассыпался, перестал служить великому национальному делу — и проснулся под владычеством интернационалистов. История как бы вслух произнесла некий закон: в России возможны — или единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия неспособна. Или еще точнее: бытие России требует единовластия — или религиозно и национально

* *Ильин Ив. А.* Почему сокрушился в России монархический строй? // *Он же.* Наши задачи.. Исторические судьбы и будущее России. Статьи 1948–1954 годов. В 2 томах. М., МП «Рарог», 1992. Т. 2. С. 81.

** Под «черню» Ильин — вместе с Пушкиным! — понимал «массу, нравственно разнузданную и лишенную чувства собственного достоинства, не имеющую ни чувства ответственности, ни свободной лояльности» (*Ильин Ив. А.* Тоталитарное разложение души // *Он же.* Наши задачи... Том 1. С. 29).

укрепленного единовластия чести, верности и служения, т. е. монархии, или же единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного, и притом антинационального и интернационального, т. е. тирании»*.

И в этом Ив. Ильин был вполне согласен — не с обманно в свое время «по-большевицки» «советизированным», но с нашим — *подлинным, русским* Пушкиным! И если свои определенно монархические взгляды на сущность и характер подлинно русской власти Пушкин подтвердил сам, то об истинной его *русскости* в свое время хорошо сказал архимандрит Константин (Зайцев): «...Ни разу не перешагнув русской границы, Пушкин был европейцем бóльшим, чем каждый отдельно взятый европеец, ибо второй родиной для него были одинаково и Германия, и Франция, и Англия, и Испания, и Италия...

Но везде и всегда он оставался русским... по той памяти сердца, которая крепче всего определяет народную принадлежность. Он был русским в самой сердцевине своего духа. Он сумел сохранить, вопреки атмосфере европеизма, привычно его окружавшей и им самим источаемой, русскую душу, созданную Киевом и Москвою, ту самую душу русского человека, свойством которой является потребность иметь глаза устремленными к Небу, и мерилom Правды — неизменно имеющую устремленность к Царствию Божию, уже здесь, на этой грешной земле, Церковью являемому»**.

Естественно, что при таком душевном строе, действительно свойственном Пушкину, ему в конце концов оказались глубоко чужды демократические формы общественной жизни, замешанные по большей части на эгоистическом индивидуализме, причем неважно — с подспудным ли, или с откровенно открытым — но всегда присутствующим при этом злобесным богоборчеством с его жалкой человеческой гордыней.

* *Ильин Ив. А.* Почему сокрушился в России монархический строй? // *Он же.* Наши задачи... Т. 2. С. 81.

** *Архимандрит Константин (Зайцев).* Жив ли Пушкин? // *А. С. Пушкин: путь к Православию.* [Сб. статей] М.: 1999. С. 275.

2. ЧТО ГОВОРИЛОСЬ О СУТИ МОНАРХИИ В ПУШКИНСКОМ КРУГУ

Отрицательное отношение к демократии как таковой было присуще не только Пушкину, но и ближайшим его друзьям — поэту В. А. Жуковскому и Н. В. Гоголю!

И под всем тем, что говорилось ими по этому поводу (и особенно — в связи с высоким понятием «монархии»), Пушкин — совершенно спокойно и естественно — поставил бы и свою ответственную подпись...

Обращаясь к положительному духовному смыслу монархии, В. Жуковский утверждал, что идеальная, запредельная суть Самодержавия есть «правда, правда, Божия, правда — и более ничего. Вот тайна верховной власти и самое легкое средство властвовать: умей только вовремя, не обманывая себя никакими софизмами, верующим, полным страха Божия сердцем применять Божию правду к делам человека. Самодержец неограничен в исполнении Божией правды; Монарх более или менее ограничен постановлениями, которых сохранение, раз признанное, принадлежит уже Божией правде; республиканское правительство так же точно подчинено закону Божией правды, как и Самодержец. Никто не говорит: моя воля; все должны говорить: воля высшая, и в ней видеть свою. Итак, ни Самодержец, ни Монарх, ни демократия не могут следовать одной собственной воле. И если свою волю кто из них признает главным

источником власти, то из законного владыки он обращается в беззаконного деспота. Воля Самодержца так же ограничена, как воля толпы, с тою только разницею, что на Нем лежит наибольшая ответственность, ибо на одном Его лице лежит *всё*...

Монарх имеет свою подпорою и ограничением воли своей — постановления, тогда как демократия не лицо, а масса, и ответственность лежит на всех вместе, а не на каждом особенно. Самодержец не имеет права быть самовластным; когда Он говорит: *Я так хочу*, Он должен в то же время присоединять к этому слову: *потому что Бог или Божия правда* так хочет. Принимать свою волю за высшую волю есть святотатство; произвол есть нарушение Божией правды и самый опасный враг власти Самодержавной, которая в своей чистоте есть высочайшее достоинство, какое только может иметь на земле человек смертный. Смирение христианское есть венец Самодержавия; оно должно быть святейшею добродетелью Самодержца, по-неже между христианами Он должен занимать ближайшее место к Богу Спасителю. Но, представляя Бога, Он не есть Бог, а только самый могущественный исполнитель Божией воли, то есть Божией правды... Самодержец есть источник земного закона, но Он сам не есть закон, а только выразитель закона Божия, который один [—] закон, один [—] верховная правда»*.

Особенно замечательно то, что и Жуковский, и Пушкин в своем предельно глубоком и нравственно-ответственном понимании самой сути Монархии были, как мы видим, абсолютно едины, достигнув подлинной христианской мудрости в понимании такого образа госуларственного строя — и недаром Гоголь, вспоминая в связи с этим Пушкина и давая оценку возросшему в итоге монархическому самосознанию великого поэта, мог сказать о нем: «...как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни!»**

* Полное собрание сочинений В. А. Жуковского в 12-ти томах. Т. XI. СПб., 1902. С. 36–37.

** *Гоголь Н. В. Х.* «О лиризме наших поэтов» // Сочинения и письма Н. В. Гоголя. Т. III. СПб., 1857, С. 366.



В. А. Жуковский (1783–1852)

3. «Я ШЕСТЬ ЛЕТ НАХОЖУСЬ В ОПАЛЕ», .. И ВОТ — «РАДОСТНАЯ НАДЕЖДА»...

Еще весной 1820 г. Пушкин был вызван к генерал-губернатору Петербурга графу Милорадовичу в связи с рядом появившихся пушкинских эпиграмм (на генерала Аракчеева, на архимандрита Фотия и даже на самого Императора Александра I). Дело грозило автору ссылкой в Сибирь или заточением в Соловецкий монастырь. Однако благодаря заступничеству Карамзина Пушкин отправился не на Север, а на Юг: его определили чиновником в Молдавию — в Кишинев, к генералу Инзову.

Однако появился он там не скоро — только 21 сентября. Все же летние месяцы Пушкин «пропутешествовал»: сначала Киев, затем Азов (Таганрог) и западная оконечность Кавказа, далее Крым (Керчь, Феодосия, Гурзуф, Бахчисарай, Симферополь). И лишь затем — Кишинев...

В следующем году Пушкин подобным же образом разъезжает по Молдавии, а в конце его — посещает Одессу.

Романтические путешествия — и романтическая поэзия...

В 1822 г. — поэмы «Кавказский пленник» и «Братья разбойники», в 1823 — в мае в Кишиневе начат «Евгений Онегин», в 1824 — написана поэма «Бахчисарайский фонтан».

Всё шло ни шатко, ни валко, и в общем было вполне терпимо — когда Пушкин «по молодости» совершил абсолютно недопустимую (в его качестве «ссылного» чиновника) глупость,

сообщив в одном из писем из Одессы в Москву (В. Кюхельбекеру) о своем якобы увлечении «атеистическими учениями». И хотя для самого поэта всё это было лишь очередными «играми нашими девичьими» и поводом побахвалиться в очередном письмеце приятелю-лицеисту, но не так смотрело на это правительство...

Письмо было вскрыто московской полицией — и тут же последовал правительственный ответ: «находящегося в ведомстве Государственной коллегии иностранных дел коллежского секретаря Пушкина уволить вовсе от службы», и перевести Пушкина на жительство в родовое имение Михайловское Псковской губернии с тем, чтобы находиться ему там под особым надзором местного начальства...

В Михайловском Пушкин проводит еще два ссыльных года. Создает порядка ста произведений (в том числе — центральные главы «Евгения Онегина» и замечательного «Бориса Годунова»), а потому — слава Богу за эту очередную ссылку! Кроме того, она основательно прочистила ему мозги относительно всевозможных «декабристских фантазий» и реально предохранила его от участия в «14 декабря».

Итак, не было счастья — да несчастье помогло...

И Пушкин, чувствуя себя никак не связанным с движением «декабризма», начинает постепенно нащупывать почву для возможного примирения с властью: он теперь — иной, да и Государь ведь теперь тоже — новый.

Почему бы — и нет?

Уже в письме от 20 января 1826 г. Пушкин пишет Жуковскому: «... Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу и с возмутителями 14 декабря [т. е. с «декабристами»] связей *политических* [выделено мной. — *д. Г. М.*] не имел... Теперь положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов уловливаться (буде условия необходимы)... Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мною правительства etc...

Я наконец был в связи с большою частью нынешних заговорщиков.

Покойный Император, сослав меня, мог [однако] только упрекнуть меня [тогда] в безверии...»*

Но, продолжает поэт (с нестерпимым желанием избавиться от своего положения ссыльного и, по сути, с просьбой к Жуковскому как-то походатайствовать о нем перед ноаым Государем): «Кажется, можно сказать Царю: Ваше Величество, если Пушкин не замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?»**

С том же самым вопросом обращается он и к П. А. Плетневу, спрашивая его в письме, отправленном во второй половине (но не позднее 25) января: «Что делается у вас в Петербурге? я ничего не знаю, все перестали ко мне писать. Верно, вы полагаете меня в Нерчинске. Напрасно, я туда не намерен — но неизвестность о людях, с которыми находился в короткой связи, меня мучит. Надеюсь для них на милость Царскую. Кстати: не может ли Жуковский узнать, могу ли я надеяться на Высочайшее снисхождение, я шесть лет нахожусь в опале, а что ни говори — мне всего 26. Покойный Император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные — других художеств за собою не знаю. Ужели молодой наш Царь не позволит удалиться куда-нибудь, где бы потеплее? — если уж никак нельзя мне показаться в Петербурге — а?»

И о том же говорит он чуть позже (в начале февраля) в письме к Дельвигу: «Конечно, я ни в чем не замешан, и, если правительству досуг подумать обо мне, то оно легко в этом удостоверится. Но просить мне как-то совестно, особенно ныне, образ [же] мыслей моих [правительству] известен. Гонимый шесть лет кряду... сосланный в деревню за две строчки перехваченного письма, я, конечно, не мог доброжелательствовать покойному Царю, хотя и отдавал полную справедливость его

* Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. ГИХЛ. Т. 9. М. 1962. С 222–223.

** Там же.

достоинствам. Но никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции, — напротив. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством, и, конечно, это ни от кого, кроме Его, не зависит...»*.

А 7 марта Пушкин в очередном письме Жуковскому разъясняет ему то, как он оказался в ссылке в Михайловском: «Поручая себя ходатайству Вашего дружества, вкратце излагаю здесь историю моей опалы. В 1824 году явное недоброжелательство графа Воронцова принудило меня подать в отставку. Давно расстроенное здоровье и род аневризма, требовавшего немедленного лечения, служили мне достаточным предлогом. Покойному Государю Императору не угодно было принять одного в уважение. Его Величество, исключив меня из службы, приказал сослать в деревню за письмо, писанное года три тому назад, в котором находилось суждение об афеизме [соврем.: *атеизме*], суждение легкомысленное, достойное, конечно, [как прекрасно понимал это в момент написания письма уже и сам Пушкин], всякого порицания.

Вступление на престол Государя Николая Павловича подает мне радостную надежду. Может быть, Его Величеству угодно будет переменить мою судьбу.

Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости**.

И, наконец, о том же, явно отрицательном своем отношении к самим принципам «днкабризма» Пушкин говорит и в письме от 10 июля — к П. Вяземскому: «...Твой совет кажется мне хорош — я уже писал Царю, тотчас по окончании следствия, заключая прошение точно твоими словами. Жду ответа, но плохо надеюсь. Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков.

* Там же. С 223—224.

** Там же. С. 227—228.

Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова. Если б я был потребо- ван комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое, и, кажется, это не к добру...»*.

Действительно, еще в мае Пушкин написал прошение на имя Императора Николая I — следующего содержания:

«Всемиловейший Государь!

В 1824 году, имев несчастье заслужить гнев покойного Императора легкомысленным суждением касательно афеизма, изложенным в одном письме, я был выключен из службы и со- слан в деревню, где и нахожусь под надзором губернского на- чальства.

Ныне с надеждой на великодушие Вашего Императорского Величества, с истинным раскаянием и с твердым намерением не противуречить моими мнениями общепринятому порядку (в чем и готов обязаться подпискою и честным словом) решился я прибегнуть к Вашему Императорскому Величеству со всепод- данной моею просьбою. Здоровье мое, расстроенное в пер- вой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чем и представляю свидетельство медиков: осмели- ваюсь всеподданнейше просить позволения ехать для сего или в Москву, или в Петербург, или в чужие края.

Всемиловейший Государь,
Вашего Императорского Величества
верноподданный *Александр Пушкин*». **

К этому письму поэтом была приложен и «подписной лист» («подписка») — с таким вот текстом:

* Там же. С. 234—235.

** Там же. С. 233.

«Я, нижеподписавшийся, обязуюсь впредь ни к каким тайным обществам, под каким бы они именем ни существовали, не принадлежать; свидетельствую при сем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них.

10-го класса Александр Пушкин. 11 мая 1826»***

Однако в течение всего лета — никакого ответа....

Но вот, в самом начале сентября, в Псков, а затем и в самое Михайловское прибыл фельдъегерь от Государя — с требованием немедленно явиться Пушкину к нему в Москву, где по обычаю происходила тогда коронация (официальное восшествие Царя на престол)..

Фельдъегерь вручил псковскому губернатору Б. А. фон Адеркасу секретное предписание начальника Главного штаба барона И. И. Дибича за № 1432:

«Господину Псковскому гражданскому губернатору.

По Высочайшему Государя Императора повелению, следовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше Ваше Превосходительство: находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10-го класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г<осподин> Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба Его Величества».

* «10-го класса» — т. е. по существовавшему в тогдашней России «табелю о рангах» чиновник 10 класса, а именно: «коллежский секретарь».

** Там же. С. 233—234.

Ознакомившись с этим документом, губернатор незамедлительно послал записку в сельцо Михайловское:

«Милостивый государь мой Александр Сергеевич! Сей час получил я прямо из Москвы с нарочным фельдъегерем Высочайшее разрешение по всеподданнейшему прошению вашему, — с коего копию при сём прилагаю... прошу Вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне.

С совершенным почтением и преданностию пребыть честь имею: Милостивого государя моего покорнейший слуга Борис фон-Адеркас».

Однако командированный губернатором уездный чиновник так и не смог вручить вовремя это письмо Александру Пушкину: тот, пользуясь «прекрасной погодой» и ни о чём не догадываясь, весело проводил время с барышнями в Тригорском. К себе домой поэт вернулся в приподнятом настроении только часов в одиннадцать вечера.

А в Михайловском, как вспоминала М. И. Осипова, «его поджидала не одна [няня] Арина Родионовна*». Помимо неё там находился потерявший всякое терпение и прискакавший из Пскова... («не то офицер, не то солдат», как определила няня), который с ходу объявил Пушкину Высочайшую волю.

По словам очевидца, кучера Петра, «Арина Родионовна растужилась, навзрыд плачет. Александр-то Сергеевич её утешать: «Не плачь, мама, говорит, сыты будем; Царь хоть куда ны пошлёт, а всё хлеба даст».

* Няня Пушкина — Арина (Ирина) Родионовна (Яковлева?) — «(10 [21] апреля 1758—31 июля [12 августа] 1828) — крепостная, принадлежавшая семье Ганнибалов, няня Александра Сергеевича Пушкина, кормилица его старшей сестры Ольги. А. С. Пушкин на всю жизнь сохранил к ней трогательное, любящее отношение, посвятил ей стихотворения, многократно упоминал в письмах». («Википедия»).

Быть может, сказано «хлеба даст» и несколько утрировано, однако есть немало свидетельств современников о том, что Пушкин жил очень и очень скромно».

Екатерина Ивановна Фок, урождённая Осипова (1823—1908) — также оставила небольшие воспоминания о Пушкине: их записал известный в конце XIX века педагог В. П. Острогорский, посетивший в 1898 году пушкинские места. Она хорошо помнила Пушкина, часто игравшего с ней.

О жизни Александра Сергеевича в Михайловском она, в частности, рассказала Острогорскому так: «Это был человек симпатичнейший, неимоверно живой, в высшей степени увлекающийся, подвижный, нервный. Кто его видел — не забудет уже никогда. У нас его очень любили; он приезжал сюда отдыхать от горя. А как бедствовал-то он, вечно нуждался в деньгах; не хватало их на петербургскую жизнь... А в Михайловском как бедствовал страшно: имение-то было запущено»*.

...Уже 4 сентября Пушкин пишет из Пскова своей соседке П. А. Осиповой — в ее Тригорское имение: «Полагаю, сударыня, что мой внезапный отъезд с фельдъегерем удивил вас столько же, сколько и меня. Дело в том, что без фельдъегеря у нас грешных ничего не делается; мне так же дали его, для большей безопасности. Впрочем, судя по весьма любезному письму барона Дибича, — мне остается только гордиться этим.

* *Е. И. Фок*. Рассказы о Пушкине, записанные В. П. Острогорским. Среди ее воспоминаний останавливает на себе внимание и следующее: «Я сама, еще девочкой, не раз бывала у него в имении и видела комнату, где он писал. Художник Ге написал на своей картине "Пушкин в селе Михайловском" кабинет совсем неверно. Это — кабинет не Александра Сергеевича, а [уже впоследствии —] сына его, Григория Александровича. Комнатка [же] Александра Сергеевича была маленькая, жалкая. Стояли в ней всего-навсего простая кровать деревянная с двумя подушками, одна кожаная, и валялся на ней халат, а стол был ломберный, ободранный: на нем он и писал, и не из чернильницы, а из помадной банки» (Там же).

Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8-го числа текущего месяца; лишь только буду свободен, тотчас же поспешу вернуться в Тригорское, к которому отныне навсегда привязано мое сердце»*.

* *Пушкин А. С.* Собр. соч. в 10 т. ГИХЛ. 1959—1962. Т. 9. Письма. № 200.

4. КАК ГОСУДАРЬ «ДОГОВОРИЛСЯ» С ПУШКИНЫМ...

8 сентября того же 1826 года (сразу же по прибытии Пушкина в Москву), в Государевом Малом «Чудовом» дворце московского Кремля — рядом с известным одноименным монастырем (ныне ни дворец, ни монастырь не существуют) состоялась беседа Государя с поэтом, когда между ними было заключено своего рода доброе соглашение, и Пушкин вышел от Государя радостный — и весь в слезах...

Что произошло тогда в Кремле?

И что же вызвало у Пушкина его благодарные слезы?

А произошло там столь долгожданное поэтом полное примирение его с Царем и его искреннее возвращение под сень Российской государственности — то, за что его потом ненавидели (как люто продолжают ненавидеть и сейчас) либерасты всех мастей*...

К сожалению, нет возможности достаточно точно показать самый ход той кремлевской встречи, ибо слишком скудны тут исторические материалы. но дух ее вполне представим, и итоги ее ясны.

* На сегодня замечательным образчиком последнего может служить, например, след. статья — см.: Николай Гуданец. «Пропасть комплиментов», или Партизан в тылу самодержавия... // Журнал «Крещатик». 2010. № 1.



*Император Николай I (1796–1855)
в начале своего правления.*

Вот как характеризовал Николая I того периода — его современник: «...высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий... Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии» (из «Записок Иосифа Петровича Дубецкого»).

Сам Пушкин (по свидетельству А. Хомутовой) рассказывал об этой встрече так: «Всего покрытого [дорожной] грязью меня ввели в кабинет Императора, который сказал мне: «Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением?». Я отвечал, как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: «Пушкин, принял и ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге?» — «Непременно, Государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю Бога!» — «Довольно ты подурачился, — возразил Император, — надеюсь, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь; отныне я сам буду твоим цензором»*.

Н. И. Лорер же (со слов Л. С. Пушкина) сообщал об этом так: «Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову и с ним вместе поехал тотчас же во дворец и введен в кабинет Государя. К удивлению Ал. С-ча, Царь встретил поэта словами: «Брат мой, покойный Император, сослал вас на жительство в деревню, я же освобождаю вас от этого наказания, с условием ничего не писать против правительства». — «Ваше Величество, — ответил Пушкин, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после «Кинжала» и вообще ничего не писал». — «Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири?» — продолжал Государь. — «Правда, Государь, я многих из них любил и уважал и продолжаю питать к ним те же чувства!» — «Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбекер?» — продолжал Государь. «Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими, сознательно действовавшими и умными людьми, сослали в Сибирь!» — «Я позволяю вам жить, где хотите; пиши и пиши, я буду твоим цензором», —

* Пушкин в передаче А. Г. Хомутовой. // «Русский архив», 1867. С. 1066 (фр.) — Воспр.: Вересаев В. В. Пушкин в воспоминаниях современников... М., 2017. С. 10.

кончил Государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом — забудем»^{*}.

Наиболее же подробные сведения о встрече Пушкина с Государем мы находим в рассказе о ней, имеющемся в мемуарах одного из знакомых поэта — графа Струтынского.

В 1873 г. в Польше, в Кракове, были опубликованы воспоминания Струтынского (под псевдонимом: Юлий Сас) — отнюдь не близкого, но все же приятеля Пушкина... Еще поздней, уже к столетию гибели поэта, в польском же журнале «Литературные Ведомости» состоялась публикация отрывка из мемуаров Струтынского — фрагмента, как раз посвященного кремлевской встрече.

Струтынский, может быть, и недостаточно точен в деталях, однако, явно правдив — по общему смыслу. К тому же (и это особенно важно!) им была сделана попытка реконструировать ход той исторической встречи, и при этом Струтынский утверждал, что он прекрасно помнит не только весь рассказ поэта, но даже и сами пушкинские выражения.

Комментируя текст Струтынского, известный наш поэт В. Ходасевич, между прочим, заметил, что «Было бы рискованно вполне полагаться на дословный текст Струтынского, но из этого не следует, что мы имеем дело с вымыслом и что общий смысл и общий ход беседы передан неверно»^{**}.

Что ж, обратимся к воспоминаниям графа Струтынского.

Вот его рассказ.

«...Молодость, — сказал Пушкин, — это горячка, безумие, напасть. Ее побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине.

^{*} Записки декабриста Н. И. Лорера. Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. С. 200 (Вересаев В. Пушкин в воспоминаниях... М., 2017. С. 9–10).

^{**} Цит. по сборнику статей «А. С. Пушкин: путь к Православию» М., 1999. С. 356.

Вы, вероятно, знаете, потому что об этом много писано и говорено, что я считался либералом, революционером, конспиратором, — словом, одним из самых упорных врагов монархизма и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности. История Греции и Рима создала в моем сознании величественный образ республиканской формы правления, украшенной ореолом великих мудрецов, философов, законодателей, героев; я был убежден, что эта форма правления — наилучшая.

Философия XVIII века, ставившая себе единственной целью свободу человеческой личности и к этой цели стремившаяся всею силою отрицания прежних социальных и политических законов, всею силою издевательства над тем, что одобрялось из века в век и почиталось из поколения в поколение, — эта философия энциклопедистов, принеся миру так много хорошего, но несравненно больше дурного, немало повредила и мне. Крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов, — все это наполнило мою голову каким-то сияющим и соблазнительным хаосом снов, миражей, идеалов, среди которых мой разум терялся и порождал во мне глупые намерения».

«Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть — насилие, каждый Монарх — угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом. Не удивительно, что под влиянием такого заблуждения я поступал неразумно и писал вызывающе, с юношеской бравадой, навлекающей опасность и кару. Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что вырос до размеров великого человека и до чертиков напугал правительство. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!»

«Но всему — своя пора и свой срок... Время изменило лихорадочный бред молодости. Все ребяческое слетело прочь. Все порочное исчезло. Сердце заговорило с умом словами Небесного Откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, — я понял, что казавшееся доньше правдой было ложью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и красноречивствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, — в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктаториальной или Самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем, как у нас до сих пор неперемное условие существования всякой власти — чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас Самого Бога. Конечно, этот абсолютизм, это Самодержавное правление одного человека, стоящего выше закона, потому что он сам устанавливает закон, не может быть неизменной нормой, предопределяющей будущее; Самодержавию суждено подвергнуться постепенному изменению и некогда поделиться половиною своей власти с народом. Но это наступит еще не скоро, потому что скоро наступить не может и не должно».

— Почему не должно? — переспросил Пушкина граф.

— Все внезапное вредно, — ответил Пушкин, — Глаз, привыкший к темноте, надо постепенно приучать к свету. Природного раба надо постепенно обучать разумному пользованию свободой. Понимаете? Наш народ еще темен, почти дик; дай ему послабление — он взбесится»*.

...А вот что Пушкин поведал Струтынскому непосредственно о своей встрече с Императором Николаем в Кремле.

«Я знаю его лучше, чем другие, — сказал Пушкин графу Струтынскому, — потому что у меня к тому был случай. Не купил он меня золотом, ни лестными обещаниями, потому что знал, что я непродан и придворных милостей не ищущ; не ослепил он меня блеском Царского ореола, потому что в высоких сферах вдохновения, куда достигает мой дух, я привык созерцать сияния гораздо более яркие; не мог он и угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, ибо кроме совести и Бога я не боюсь никого, не дрожу ни перед кем. Я таков, каким был, каким в глубине естества моего останусь до конца дней: я люблю свою землю, люблю свободу и славу отечества, чту правду и стремлюсь к ней в меру душевных и сердечных сил; однако я должен признать, (ибо отчего же не признать), что Императору Николаю я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и, может быть, тщетно, ибо смотрел на мир не непосредственно, а сквозь кристалл, придающий ложную окраску простейшим истинам, смотрел не как человек, умеющий разбираться в реальных потребностях общества, а как мальчик, студент, поэт, которому кажется хорошо все, что его манит, что ему льстит, что его увлекает!

Помню, что, когда мне объявили приказание Государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась — не тревогою, нет! Но чем-то похожим на ненависть, злобу, отвращение. Мозг ошестинился эпиграммой, на губах играла насмешка, сердце

* Цит. по: Там же. С. 348-350.

вздрагнуло от чего-то похожего на голос свыше, который казалось призывал меня к роли исторического республиканца Катона, а то и Брута. Я бы никогда не кончил, если бы вздумал в точности передать все оттенки чувств, которые испытал на вынужденном пути в царский дворец, и что же? Они разлетелись, как мыльные пузыри, исчезли в небытие, как сонные видения, когда он мне явился и со мной заговорил. Вместо надменного деспота, кнудодержавного тирана, я увидел человека рыцарски-прекрасного, величественно-спокойного, благородного лицом. Вместо грубых и язвительных слов угрозы и обиды, я слышал снисходительный упрек, выраженный участливо и благосклонно.

— Как, — сказал мне Император, — и ты враг твоего Государя, ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин, это не хорошо! Так быть не должно.

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах. Государь молчал, а мне казалось, что его звучный голос еще звучал у меня в ушах, располагая к доверию, призывая о помощи. Мгновения бежали, а я не отвечал.

— Что же ты не говоришь, ведь я жду», — сказал Государь и взглянул на меня пронзительно.

Отрезвленный этими словами, а еще больше его взглядом, я наконец опомнился, перевел дыхание и сказал спокойно:

— Виноват и жду наказания.

— Я не привык спешить с наказанием, — сурово ответил Император, — если могу избежать этой крайности, бываю рад, но я требую сердечного полного подчинения моей воле, я требую от тебя, чтоб ты не принуждал меня быть строгим, чтоб ты помог мне быть снисходительным и милостивым, ты не возразил на упрек во вражде к твоему Государю, скажи же почему ты враг ему?

— Простите, Ваше Величество, что не ответив сразу на Ваш вопрос я дал Вам повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего Государя, но был врагом абсолютной монархии.

Государь усмехнулся на это смелое признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

— Мечтания итальянского карбонарства и немецких тугендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицестов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе своем жалки и вредны!

Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете всегда ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Силы страны [—] в сосредоточенной власти, ибо где все правят — никто не правит; где всякий — законодатель, там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада. Каково следствие всего этого? Анархия!

Государь умолк, раза два прошелся по кабинету, вдруг остановился предо мной и спросил:

— Что ж ты на это скажешь, поэт?

— Ваше Величество, — отвечал я, — кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России и разнородность населения, существует еще одна политическая форма — конституционная монархия.

— Она годится для государств, окончательно установившихся, — перебил Государь тоном глубокого убеждения, — а не для таких, которые находятся на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование, она еще не добилась тех условий, при которых возможно развитие внутренней жизни и культуры. Она еще не достигла своего предназначения, она еще не оперлась на границы необходимые для ее величия. Она еще не есть вполне установившаяся, монолитная, ибо элементы, из которых она состоит до сих пор, друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает только Самодержавие, неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой

воли не было бы ни развития, ни спайки и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. Неужели ты думаешь, что будучи конституционным монархом я мог бы сокрушить главу революционной гидры, которую вы сами, сыны России, вскормили на гибель ей? Неужели ты думаешь, что обаяние самодержавной власти, врученное мне Богом, мало содействовало удержанию в повиновении остатков Гвардии и обузданию уличной черни, всегда готовой к бесчинству, грабежу и насилию?

Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что Самодержавный Царь был для нее представителем Божеского могущества и наместником Бога на земле, потому что она знала, что я понимаю всю великую ответственность своего призвания и что я не человек без закала и воли, которого гнут бури и устрашают громы.

Когда он говорил это, ощущение собственного величия и могущества казалось делало его гигантом. Лицо его было строго, глаза сверкали, но это не были признаки гнева, нет, он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Он был горд и в то же время доволен. Но вскоре выражение его лица смягчилось, глаза погасли, он снова прошелся по кабинету, снова остановился предо мною и сказал:

— Ты еще не все высказал, ты еще не вполне очистил свою мысль от предрассудков и заблуждений; может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочю тебя выслушать и выслушаю.

— Ваше Величество, — отвечал я с чувством, — Вы сокрушили главу революционной гидры. Вы совершили великое дело, кто станет спорить?

Однако... есть и другая гидра, чудовище страшное и губительное, с которым Вы должны бороться, которое должны уничтожить, потому что иначе оно Вас уничтожит!

— Выражайся яснее», — перебил Государь, готовясь ловить каждое мое слово.

— Эта гидра, это чудовище, — продолжал я, — самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры, поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло, нет сословия, которого оно не коснулось бы. Общественная безопасность ничем у нас не обеспечена, справедливость в руках самоуправств! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика, любого шпиона. Что ж удивительного, Ваше Величество, если нашлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего отечества подняли знамя сопротивления, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть и построить то, что должно быть: вместо притеснения — свободу, вместо насилия — безопасность, вместо продажности — нравственность, вместо произвола — покровительство законов, стоящих надо всеми и равного для всех! Вы, Ваше Величество, можете осудить развитие этой мысли, незаконность средств к ее осуществлению, излишнюю дерзость предпринятого, но не можете не признать в ней порыва благородного. Вы могли и имели право покарать виновных, в патриотическом безумии хотевших повалить трон Романовых, но я уверен, что даже карая их, в глубине души, Вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если Государь карал, то человек прощал!

— Смелы твои слова, — сказал Государь сурово, но без гнева, — значит ты одобряешь мятеж, оправдываешь заговорщиков против государства? Покушение на жизнь монарха?

— О нет. Ваше Величество, — вскричал я с волнением, — я оправдываю только цель замысла, а не средства. Ваше Величество умеете проникать в души, соблаговоли-

те проникнуть в мою и Вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно. В такой душе злой порыв не гнездится, а преступление не скрывается!

— Хочу верить, что так, и верю, — сказал Государь, более мягко, — у тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах, но тебе не достает рассудительности, опытности, основательности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка и что искусство трудно: для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он не был тверд и силен. Ему нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее; нужно соединение всех усилий и рвений в одном похвальном стремлении к поднятию самоуправления в народе и чувства чести в обществе. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их — и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Ибо только в общих усилиях — победа, в согласии благородных сердец — спасение. Что же до тебя, Пушкин, — ты свободен. Я забываю прошлое, даже уже забыл. Не вижу пред собой государственного преступника, вижу лишь человека с сердцем и талантом, вижу певца народной славы, на котором лежит высокое призвание — воспламенять души вечными добродетелями и ради великих подвигов! Теперь... можешь идти! Где бы ты ни поселился, — ибо выбор зависит от тебя, — помни, что я сказал, и как с тобой поступил, служи родине мыслью, словом и пером. Пиши для современников и для потомства, пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо цензор твой — буду я...

Такова была сущность Пушкинского рассказа.

Наиболее значительные места, запечатлевшиеся в моей памяти, я привел почти дословно»*.

После встречи с Государем Пушкин, конечно же, задержался в Москве, но, однако, 15 сентября написал (по-французски) коротенькое письмо в Тригорское — П. Осиповой: В частности там было сказано и следующее: «L'Empereur m'a reçu de la manière la plus aimable». В переводе: «Император принял меня самым любезным образом».

* * *

...Разумеется, тогдашние «либерал-прогрессисты» не простили Пушкину его «предательство», а именно — его отказ от усовершенствования России «революционным путем»** и его выражение искреннего уважения к Императору Николаю I, к этому, по их мнению, злодею, подавившему восстание «декабристов».

Что ж, они тут же и обратились к излюбленному своему оружию — клевете...

Уже вскоре Пушкин сообщает в письме к П. Вяземскому: «...Алексей Полторацкий сболтнул в Твери, что я — шпион, получаю за то 2500 в месяц, (которые... бы очень мне пригодились...), и ко мне уже являются троюродные братцы за местами и милостями царскими».

* Цит. по: «А. С. Пушкин: путь к Православию». М., 1999. С. 350—356. Здесь же утверждается, что «биограф и друг Струтынского, в свое время небезызвестный славист А. Киркор» говорил, «что у Струтынского была необычайная память...» (Там же. С. 356).

** В своих «Мыслях на дороге» Пушкин замечает: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». А в программе размышлений «О дворянстве» содержится запись (по французски): «Устойчивость — первое условие общественного блага...» (Цит. по: С Франк С. Л. Этюды о Пушкине. М., 1999. С. 65).

Или как вам «понравится» вот такой, например, (довольно-таки пошловато-вульгарный) стишок о поэте? —

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских шей отведал,
И стал придворный лизоблюд.

На распускаемые тогда всевозможные клеветнические слухи Пушкин ответил стихотворением «Друзьям». Вот оно:

Нет, я не льстец, когда Царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит,

Текла в изгнаньи жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подавал — и с вами я, друзья.

Во мне почтил он вдохновенье.
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленьи,
Ему хвалу не воспою?

Я льстец? Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на Царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: «Презирай народ,
Гнети природы голос нежный!»
Он скажет: «Просвещения плод —
Страстей и воли дух мятежный!»

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

* * *

...Интересно: а как относились тогда к творчеству Пушкина «при Дворе» — и, естественно, в первую очередь, скажем, члены царской семьи?

Об этом мы узнаём благодаря «Запискам» одной из фрейлин Императрицы — А. О. С мирновой-Россет, изданным ее дочерью Ольгой.

Как писала Ольга: «В первый раз дело касается произведений Пушкина, когда моя мать рассказывает один эпизод из ее пребывания в Петергофе. Мать была дежурная; Императрица писала письма во дворце Монплезир, а мать играла с маленькой Великой Княжной Александрой, которая была очень привязана к ней.

Молодая девушка и ребенок стали, шутя, бросать розы в красивый фонтан перед дворцом Монплезир. Мать начала декламировать стихи Пушкина:

Фонтан любви, фонтан живой.
Принес я в дар тебе две розы...
и т. д.

Она читала их [прежде] на выпускном экзамене в Екатерининском институте.

Императрица вышла в это время и, увидя мою мать, декламирующую стихи и бросающую вместе с Великой Княжной розы в бассейн, воскликнула: «Какую прелестную картину вы обе составляете... А что вы декламируете?»

Мать повторила стихи. Императрица нашла их очаровательными и спросила: «А чьи они? Мне что-то они знакомы, я их где-то слышала». Мать назвала Пушкина и сказала, что он написал это стихотворение ранее, чем «Бахчисарайский фонтан». «Мне оно больше нравится, — прибавила мать, — чем большая поэма. Ваше Величество слышали его на экзамене, когда я читала».

Императрица сказала: «Напишите мне его в альбом на память, я нахожу его обворожительным».

Мать сейчас же исполнила это, а Императрица дала ей розу.

Вечером за чаем Императрица говорила об этом с Государем. И он попросил мою мать прочитать стихотворение Пушкина и спросил: знала ли она поэта? Она тогда встречала его у Карамзиных. Государь очень хвалил Пушкина и рассказал свою беседу с ним после коронации. Тогда Императрица заметила: «Как наше общество равнодушно к русской поэзии: кроме моего доброго Жуковского никто со мной и не говорит о ней. В Германии всякий наизусть знает творения Шекспира и Гёте. Как нехорошо так мало следить за родной литературой!»

С того вечера и начались у моей матери разговоры о Пушкине с Государем и Императрицей. Государь спрашивал ее: видала ли она его, написал ли он что-нибудь? Мать этим пользовалась и передавала стихи Царю. Он делал на них заметки, и она потом возвращала их Пушкину. Стихи шли в цензуру только после того, как их прочитывал Государь.

Мать записала также мнение Великого Князя Михаила Павловича. Он был сначала предубежден против Пушкина. Но раз, встретив его у моей матери, переменил мнение о нем. В тот же вечер он сказал матери: «Смотрите, как оклеветали Пушкина! Кроме того, что он талантлив, он вполне порядочный человек, рыцарь. Какой честный и гордый характер! Он очаровал меня»*.

* См.: *Смирнова-Россет А. О.* Неизвестный Пушкин. М., изд-во «Вече», 2017.

5. «НАШЕ ВСЁ» — КАК КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕР..

Помню, как-то в Интернете, на «Фейсбуке», кто-то из современных либералов явно неодобрительно отнесся к небезызвестному пушкинскому опусу «Клеветникам России».

Однако насчет «Клеветникам...» я, «зря в корень» — т. е. учитывая время и обстоятельства написания этих стихов (когда в Польше происходило антироссисйкое восстание) — вполне с Пушкиным согласен. Для меня он был — именно по тем временам — совершенно прав.

...Поскольку, увы, за всем тогдашним «оборзением» либеральной части Европы — преимущественно последышей «Великой французской» — уже начинал потихоньку бродить по европейским весям марксов «призрак» коммунизма, постепенно и вылезавший наружу.

И при этом самым страшным тут было то, что все эти парижские и прочие «революции» неизменно грозили миру, прежде всего, духовным распадом человека — как такового, а потому на самом-то деле оказывались в итоге (и всегда такими останутся) по сути своей — явлениями отнюдь не порядка «экономического», а порядка «нравственного», точнее же — попросту безнравственными (и при том — как показывает вселенский опыт — неизменно человеко-ненавистническими).

Именно это «качество» всякой революции и отмечал тот же Пушкин, говоря о тех, «которые замышляют у нас невозможные перевороты», что они — суть «или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка», сопровождая эти слова известной скорбной сентенцией — уже относительно самой России: «не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный!»*.

А то, что именно так Пушкин и относился к подобным социальным столкновениям, еще раз подтверждает свидетельство об этом, имеющееся в известныз «Записках» А. О. Смирновой-Россет, где она, вспоминая о восстании «декабристов», пишет следующее: «... если бы удалось им иметь успех, в России произошла бы кровавая и, как говорил Пушкин, незаконная и безрассудная резня»**.

Итак: чему же учил поэт, ну, скажем, того же — меня?

...Видя вокруг себя не слишком приглядную жизнь, я весьма интересовался прошлым бытием России — той, прежней, добольшевицкой, своего рода «пушкинской» или же (скажем, пусть даже и по «Ревизору») «гоголевской», — России, которая, несмотря на всю критику многих сторон ее существования тем же Гоголем, странным образом оказывалась для неленостно испытующего ума гораздо более человечной и более «нормальной» (в том числе — и более справедливой и «праведной»), чем всё то, что меня окружало...

И я, как и многие мои современники, будучи в детские годы вполне обычным советским ребенком, школьником-пионером

* Из так называемой «Пропущенной главы», не вошедшей в окончательный текст пушкинской «Капитанской дочки», хотя глава эта и была сохранена (в рукописном виде) самим Пушкиным — при сожжении им черного варианта романа.

** Смирнова-Россети А. О. Дневник. Воспоминаеия. М., «Наука», 1989. См. о ней чуть ниже.

(слава Богу! — «комсомола» я уже ухитрился избежать), постепенно перестал верить во все побрякушки советизма и его «рреволюционной» якобы «демократии». И, более того, со временем основательней знакомясь с началами любой «демократии вообще», я всё менее и менее верил и в сами эти «начала».

И, увы-с, бóльшая часть «демократических ценностей», за которые якобы и боролись, скажем, те же «революционеры», — в прискорбном итоге оказывалась, на мой взгляд, явно недостойной подобной борьбы. Ибо постепенно я пришел к однозначному выводу: все эти якобы «ценности» странным образом зачастую превращали человека (как, впрочем, замечу, продолжают превращать и сегодня), по сути, или в жадного (всё, всё — «для себя!») обывателя, или даже в довольно неприятное, хищное животное, а то и вообще — в самого обыкновенного «беса»! Исключения — редки, представляя собой, чаще всего, образчики шизофренического раздвоения личности (и в любом случае не превышая, опять же — по сути, некоего «процента погрешности»).

И скажите, пожалуйста, — разве не именно об этом и свидетельствует нам вся *подлинно русская литература*, как — точно так же! — и вся серьезная литература Запада — равно XIX и XX веков?

И вот, вновь возвращаясь к Пушкину, могу сказать только одно: вся эта «демократия» и все ее «ценности» были ему — как человеку в необходимой мере разумному и достаточно порядочному (во всяком случае в области «общественных» отношений) — попросту омерзительны! Недаром же он писал, упоминая о Франции (помните?), что «... Народ властвует в ней отвратительною властью демократии»*.

Вот так прямо и писал: «отвратительною»!

* Пушкин А. С. «История поэзии» С. П. Шевырева // *Он же*. Полное собрание сочинений в 10-ти тт. // АН СССР. Институт Русской литературы. (Пушкинский Дом). Критика и публицистика.. Т. 7. С. 273.

Ибо прекрасно понимал всю гнусную сущность подобного «демократического» устройства общества, когда гражданам вроде бы сулится «свобода» («вообще»), но «в сухом остатке» неизменно — «толерантно» и «плюралистично» — оказывается (по-другому и оказаться-то не может!) — грех безбожия: «свобода» — и от Бога (а потому зачастую и от самого человека), от «человечности» как таковой, а уж в самом наипоследнейшем итоге — всей «ложью демократии» лишь «удобее готовятся» пути прихождения в наш мир известного «товарища» — антихриста... Только и всего! Начинается иногда — вроде бы и «во здравие», а кончается всегда (и кончится — причем обязательно!) — «за упокой»...

И эту дьявольскую «тайну» Пушкин на протяжении всей своей жизни разгадывал, и в конце концов — разгадал!

А потому столь сердито и говорил он о «демократии» еще в одной своей заметке, упоминая об «отвратительном цинизме», «ее нестерпимом тиранстве» и о принуждении («из уважения к равенству») всякого «таланта» к «добровольному остракизму»*.

И, подводя итог всему здесь сказанному, могу утверждать здесь только одно: именно такой «разгадке» смысла человеческого бытия и учил меня Пушкин!

Именно такая пушкинская принципиальная позиция (а во все не пошлые псевдо-патриотические «позочки» — столь типичные, например, для остаточной «совковой» и вполне себе «красной» части масс-медиа: типа, например, Интернет-сайта «РНЛ» или газеты «Завтра») — и нашла свое отражение в его «Клеветникам...», поскольку он прекрасно понимал, чем пахнет

* Пушкин А. С. Джон Теннер // *Он же*. Полное собрание сочинений в 9-ти тт. Изд-во «Academia», 1936. Т. VIII. С. 235.

И еще одному «антидемократическому» проявлению пушкинской мысли здесь далее будет даже посвящена особая заметка — о его выступлении в салоне А. Смирновой-Россет на тему «демократии».

для подлинной России всё это р-р-революционное «клеветничество».

И тут он был абсолютно прав: в итоге Россия до «большевизма» и доигралась!

Так что за пушкинскими политическими взглядами (соответственно — и стихами) стоял вовсе не «унтер-пришибевский» «патриотизм» нынешнего «прошло-советского» типа, а неприятие всего дьявольского «духа зла», что «революционно» всегда был преисполнен вопиющей «клеветы», найдя абсолютное свое выражение в идеях запредельно лживого, а потому столь же и богомерзкого — «коммуно-советизма»...

И потому смею утверждать (понравится это кому-то или нет), что Пушкин — был бы скорей уж вместе с такими борцами с большевиками — как поэт Н. Гумилев или адмирал А. Колчак, но никогда — с «клеветниками России» и прочей псевдо-духовной «чернью», столь увлеченной (особенно в первые годы «великого Октября») лживыми лозунгами «большевизма»...

Не зря же, в письме к П. А. Вяземскому касаясь мятежа «декабристов», Пушкин прямо так и говорил (вновь напомню — да простит мне это читатель): «... я уже писал Царю, тотчас по окончании следствия... *Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда*» [курсив мой. — д.Г. М.], и тут же — вдобавок подтверждая то, что сам он «был в связи почти со всеми и в переписке со многими из заговорщиков» — с явным негодованием пишет: «Все возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова». Впрочем, замечает далее поэт: «Если б я был потребован комиссией, то я бы, конечно, оправдался, но меня оставили в покое...»*

Так что «бунты» и «революции» Пушкину явно, явно «не нравились»...

* Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому (1826) // *Он же*. Полное собрание сочинений. В 10 тт. Л., 1979. Т. 10. Письма. С. 163.

И потому-то он с полным правом мог написать также и Дельвигу (в феврале 1826 г.): «никогда я не проповедовал ни возмущения, ни революции, — напротив...»*

Напротив!

Потому-то и я имею полное право заметить, что сего раба Божьего Александра — как явного «аристократа-контрреволюционера» да (в придачу) еще и яркого «монархиста» — предки всех нынешних «верных ленинцев» в те крутые времена попросту бы «пустили в расход» (как поступили они с тем же поэтом Гумилевым). Только и всего...

Почему так?

Да потому что Пушкин (и да простят мне уважаемые читатели дальнейшие почти что банальности!), в отличие от многих будущих «красных» (или «советских»), не покупался и никогда бы не купился на липовые сказки о псевдо-свободах всевозможных «коммун» и об их грядущем (якобы обязательном — после всех их «отнять и поделить») «изобилии плодов земных»: он никогда бы не поверил обманным лозунгам «большевизма» (типа «мир — народам», «земля — крестьянам»?!), потому что ему и в голову не могло прийти — после нелепейшей и преступной авантюры «декабристов» — нечто «революционное» и, тем более, стать «революционером» самому...

Но разве не пытались — вот уже более века! — многие, так называемые «ученые-пушкинисты», превратить его именно в одного — эдакого чуть ли не предшественника отечественных «демократов»: всех этих Нечаевых, Добролюбовых, Чернышевских и прочих, мягко еще говоря, чудаков?

Однако Пушкин не был ни «нравственным уродом», ни безбожником, ни попросту глупцом... Недаром Государь считал его чуть ли не самым умным человеком в России того времени!

Да, пусть Пушкин в голы юности и ранней молодости болел порой излишним «вольтерьянством», столь свойственным тог-

* Там же. С. 155.

да молодежи, «задумывающейся» над «смыслом жизни», но — исцелился!

И можно быть совершенно уверенным: если бы он дожил до тяжелых для Европы дней 1848-го или 1871-го гг., он и тогда дал бы — требуемую всей *подлинной* правдой осмысленного в Боге бытия — нелицеприятную отповедь (в духе его же «Клеветникам России») бесновавшейся там «черни»...

И вновь, вновь повторю — не напрасно же когда-то Пушкин так прямо и сказал, что все эти «бесмысленные и беспощадные «бунты» и «революции» — ему «никогда не нравились»...

Что в Европе, что в России.

6. «СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ ВИСОК РАЗБИТОЙ ВДРЕБЕЗГИ ЕГО ПОСМЕРТНОЙ МАСКИ...»

А тут я предложу вашему вниманию, досточтимые читатели, еще один (как своего рода безусловное подтверждение уже сказанному) любопытнейший факт...

Если во время октябрьского переворота крестьяне, захватившие, например, имение композитора С. Рахманинова, кроме грабежа, как известно, гадили в его рояль, то пушкинское имение — такие же вот «революционные» и якобы жаждавшие вселенской справедливости мужички — попросту сожгли!

Вообще пушкинскому дому в отечественной истории явно «не везло»...

Об этом достаточно ясно сказал в одной из своих статей нынешний заведующий музеем «Пушкинская деревня» (Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское») Вячеслав Юрьевич Козмин: «...Тот "Дом поэта", который сегодня видят посетители музея — пятый [! — *д. Г. М.*] по счету. После гибели Пушкина в истории Михайловского наступил период забвения и утрат материальных свидетельств жизни поэта. С 1866 по 1899 гг. в усадьбе жил сын поэта Г. А. Пушкин. Он вносил разумные усовершенствования в облик сельца, мало заботясь при этом о сохранении его мемориального об-

лика. В 60-е гг. XIX в. наследник основательно перестроил отцовскую «лачужку». Юбилейные пушкинские торжества 1899 г. привели к передаче Михайловского в ведение местного губернского начальства, со всеми вытекающими отсюда последствиями — административной местечковостью и халатным отношением к казенному имуществу. Как следствие, в 1908 г. от неосторожного обращения с огнем сгорел второй дом, построенный на старом «отцовском» фундаменте Г.А. Пушкиным. В 1911 г. на том же фундаменте был возведен дом-«музей», внешне совпадающий с изображенным на рисунке псковского землемера Иванова домом, в котором жил А.С. Пушкин. Через семь лет, в феврале 1918 г., и он был сожжен в угаре революционных «преобразований». К 100-летию со дня смерти поэта в Михайловском было возведено нелепое сооружение, в народе получившее название «речной вокзал». Но и этот дом-«вокзал» просуществовал недолго: при освобождении Пушкинского Заповедника, в 1944 г., здание было обращено в пепел. После войны под руководством С.С. Гейченко усадебные постройки были заново отстроены. В ходе подготовки к пушкинскому 200-летию в 1999 г. «Дом поэта» и усадебные флигели были в очередной раз реконструированы и подновлены*.

...Ну, а как расправились местные крестьяне с домом Пушкина в Михайловском — хорошо видно из следующего газетного сообщения «революционной» поры: «18 февраля 1918 г. в шесть вечера загорелось имение Тригорское, а 19-го около 12 дня та же участь постигла и Михайловское. Сгорел пушкинский дом-музей и надворная постройка. Погибли в доме картина «Пушкин и Мицкевич у памятника Петру Великому»... бюст Пушкина... библиотека..., составленная в конце прошлого

* Козмин В. Ю. В поисках Пушкина (из комментариев к мемуарным запискам В.В. Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском») // Журнал «Псков». № 48. 2018.

столетия, частью из современных Пушкину журналов, частью из новых книг.

Из исторически ценных пушкинских вещей сгорел бильярд, на котором А. С. Пушкин играл одним шаром, и из каретного сарая пропала старинная, екатерининских времен, карета, катавшая Пушкина при жизни...

В Тригорском, кроме знакомого поэту дома, погибло гораздо больше вещей, связанных с памятью поэта»^{*}.

При этом замечу, что и имения, напрямую связанные с именем поэта, были сожжены как раз в дни его памяти: Тригорское — в самый день погребения Пушкина (18 февраля по нов. ст.), а Михайловское — на следующий день, 19-го.

И всё это приводит нас к неизбежному выводу о том, что акции эти были вполне сознательно осуществлены кругом лиц, достаточно образованных, а потому и знавших дату кончины поэта — как именно сознательного монархиста и «контрреволюционера», т. е. как подлинно *русского* человека... Ну, а соответственным образом «направить» на совершение подобного варварского беззакония наименее образованную часть местного крестьянства для этих «товарисчей» не представляло тогда — в условиях «интернационально» мыслимой ими революции — особого труда.^{**}

* См.: «Псковские хроники», Псков, ИД «Стерх», 2001: по газетам «Псковский набат» и др.

** Сказанное можно дополнить данными, приводимыми в Интернете Алексеем Малявиным, посетившим в 2018 г. пушкинские заповедные места: «19 февраля 1918 года революционные крестьяне сожгли и разграбили Михайловское; были сожжены: главный усадебный дом, скотный двор, каретный сарай. В этот же период аналогичная судьба постигла окрестные имения — Петровское, Тригорское, Васильевское, Батово и др. Были уничтожены библиотеки имений, в Михайловском революционные варвары разбили топорами мраморную доску пушкинского бильярда, копию его посмертной маски, бюст поэта, сложили костры из томов "Отечественных записок", "Русского богатства", "Вестника Ев-

Сохранился также еще один весьма любопытный документ, где описываются те — страшные для Михайловского — дни. Это — записки писательницы Варвары Васильевны Тимофеевой-Починковской (1850—1931) — [О. Починковская — один из ее (основной) псевдонимов], жившей здесь в 1911—1918 гг., а впоследствии даже ставшей первой хранительницей Пушкинского заповедника (точней — того, что от него тогда оставалось).

Вот небольшие фрагменты из огромной ее рукописи, написанной в память о столь любимых ею пушкинских местах*.

«17 февраля. Утром донесли откуда-то слухи. *Летал аэроплан и сбросил приказ — в три дня сжечь все села* [курсив мой. — д. Г. М.]. Ночью выходила смотреть зарево.

ропы", сожгли карету, в которой ездил поэт, и картину "Пушкин и Мицкевич у памятника Петру Великому".

Приехавшие в марте 1918 года из Опочки советские комиссары лишь составили акт об уничтожении имущества. А попытка предать суду варваров, которую предприняла группа сознательных местных жителей, оказалась неудачной. Революционный суд фактически встал на сторону тех, кто уничтожил Михайловское. Судьи после объяснений подсудимых о том, что уничтожение усадьбы Пушкина было продиктовано "классовой борьбой", ограничились вынесением порицания. Хотя какая здесь могла быть "классовая борьба"? Михайловское 20 лет как было государственным имуществом (стало быть народным, по новой терминологии) [точней: Михайловское было приобретено государством у сына Пушкина — Григория Александровича — в 1911 году. — д. Г. М.]. Но наказывать губителей народного добра и исторической памяти советские судьи не пожелали...». (См.: «По пушкинским местам. Михайловское и Тригорское»; a-malyavin.livejournal.com).

* Рукопись В. В. Тимофеевой-Починковской «Шесть лет в Михайловском» хранится в Пушкинском Доме РАН. Здесь воспроизведены фрагменты. по кн.: *Будылин И. Т.* Золотая точка России. Пушкинский заповедник. События. Люди. Годы. СПб., изд-во «Новый город», 1995. С. 18—21.



В. В. Тимофеева-Починковская.

Вторую ночь видим зарево от Тригорского. Вчера и третьего дня сожгли три усадьбы: Васильевское, Батово, Вече

18 февраля — [эта дата в публикации И. Будылина опущена, но в «интернет-варианте» имеется. — *д. Г. М.*] ...Не проходит и часу, как передают, что грабят Тригорское... Оттуда доносится и гром и треск разбиваемых окон. Тригорское загорелось. Дом уже весь насквозь пронизан огнем и напоминает адскую клетку. Как бесы спутались там черные тени... Не хватает духу смотреть...

19 февраля. Грабят Петровское и Михайловское! — возвещают нам утром. А я лежу, [как] в параличе, без движения от всех этих дум... И только про себя запоминаю заглавия для таких эпизодов из «Истории русской революции»...

Под вечер вижу в окно новое зарево. И вот там над лесом — большое и яркое. Зажгли Зуево! — снова возвещают мне, чтобы не ездили туда и не вспоминали. Вот оно что! — чтобы не ездили туда и не вспоминали! Или воспоминание — самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему (Пушкин. Письма.)?*

Не знаю, будут ли ездить и вспоминать пушкинское Михайловское, но два дня спустя я ходила туда пешком, как на заветное кладбище, и я вспоминала... Шла по лесу, видела потухшие костры из сожженных томов... поврежденных изданий и вспоминала славную эпоху мечтаний о просветительном освобождении мысли и совести, о борьбе и гонениях на эти мечты... Подняла из тлеющего мха обгорелую страничку «Капитанской дочки» посмертного издания 1838 года и вспомнила восторги детских лет, когда впервые мне попала в руки эта повесть... Издалека завидела, как двое мужиков и баба вывозят кирпич и железо с обуглившихся развалин «дома-музея»...

— Испортили вам ваше гулянье... — сказал пожилой мужик, мельком оглянувшись, когда я подошла.

* Этого абзаца в публикации И. Будылина нет, но в записках В. Починковской он присутствует.

— Что гулянье испортили, это еще не велика беда, — гулять везде можно. А вот что память Пушкина разрушили, это уж непростительно!

— Память Пушкина? А какая тут память его?

— А вот этот самый дом и есть его память. Он тут жила со своей няней. Мы этот дом бережем, а вы его зачем-то разрушили.

— А-а! — равнодушно протянул он, не оборачиваясь.

...Нашла в снегу осколки бюста, куски разбитой топорамии мраморной доски от старого бильярда... Взяла на память «страдальческий» висок разбитой вдребезги его посмертной маски и обошла кругом полуразрушенный домик няни — единственный предмет, сохранившийся в неизменном виде с его юности, но не уцелевший теперь. Ничего не пощадили и тут: рамы, печки, обшивка стен, старинные толстые двери, заслонки, задвижки, замки — все было обобрано уже дочиста... Во время пожара почти полностью сгорела библиотека Михайловского, оставшиеся книги были расхищены местными жителями. Сгорели картины, бюст А. С. Пушкина неизвестного автора, бильярд и карета поэта, была уничтожена мебель...»

Автор путеводителя о «Пушкинском уголке» 1924 г. Ф. А. Васильев-Ушкуйник приходит к выводу, что причиной разгрома музея стала не только классовая ненависть крестьянства к дворянству, но и невежество «святогорских крестьян», для которых «Пушкин как личность умер и забыт, а Пушкин как великий писатель еще и не родился»*.

В «советское время» было не принято вспоминать и писать о погроме 1918 г., произошедшем в «Пушкинском уголке». В путеводителях значилось, что усадебный Дом в Михайловском

* *Васильев-Ушкуйник Ф. А.* Пушкинские уголки Псковской губернии. М., 1924. С. 49.

просто «сгорел», без объяснения причин пожара. И не дай Бог, чтобы такое когда-нибудь повторилось вновь...

Такие вот дела, господа. Такие дела...

Вот вам — и «наше всё»!

7. «МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ, НЕ ВЫСКАЗАВШИСЬ...»

Выше уже говорилось об абсолютно отрицательном отношении Пушкина к любому виду «демократии» как таковой...

Почему?

Что ж, он сам — достаточно ясно и объяснил это — хотя, кажется, и до сих пор Пушкин многим представляется весьма туманной исторической фигурой — и даже, вроде бы, склонной как раз к оной демократии...

Однако — еще раз разведем это абсолютное «заблуждение масс».

Для одних Пушкин — только «замечательный поэт» (и этим, мол, всё сказано); для других («леваков») — чуть ли не «рреволюционер», лишь случайно не сделавшийся «декабристом» (этакий «служитель муз» с постоянной «фигой в кармане», направленной в сторону «ужасно ненавистного ему трона»; наконец, для третьих (назовем их супер-либералами, или даже «либерастами») — напротив, принципиальный, мол, «реакционер», «шовинист» и вообще малоприличный человек, жаждавший той же польской крови (и «соответствующей» славы), хотя, впрочем, и писавший порой «недурственные» в общем стишки...

И разве не именно такого рода «прогрессисты»-«разночинцы» второй половины XIX века, претендующая и якобы

истину в последней инстанции, и могли говорить о том, что «сапоги», мол, неизмеримо «выше»* какого-то там Шекспира или того же Пушкина?

И, более того, уже в XX-ом — не наиталантливейший ли Маяковский, так и не понявший ни сути жизни, ни высшего ее смысла, ни даже того, зачем ему был дан Творцом столь великий поэтический дар, мог требовать «бросить Пушкина с Парохода современности»**?

* Фраза «Сапоги выше Шекспира» ошибочно, но весьма часто приписывают Д. И. Писареву: на самом деле её автор — Ф. М. Достоевский, выразивший в ней свое презрение к утилитаристской «эстетике» так называемых «революционеров-демократов»: Добролюбова, Чернышевского и им подобной публики... Еще в 1864 г. в журнале «Эпоха» (№ 5) появился пародийный фрагмент якобы некоего романа «Щедродаров» (эта анонимно изданная пародия была написана Достоевским, и в ней он весьма ядовито высмеивал редакцию журнала «Современник» — за его нигилистически-«революционную» направленность. И именно в этом фрагменте Достоевский вполне справедливо упоминает, по сути, об одной «идеальной» установке редакции «Современника» (в памфлете он назван как «Своевременный»), а именно: «Молодое перо! Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а следовательно, Пушкин — роскошь и вздор. Поняли?» И далее шли такие слова: «Вздор и роскошь — даже сам Шекспир, потому что у этого даже ведьмы являются, а ведьмы — уж последняя степень ретроградства»... Увы, но подобная, казалось бы, запредельная ахиня и проповедывалась тогда авторами, связанными с «демократическим» «Современником».

** Из манифеста русских футуристов «Пощечина общественному вкусу. В защиту свободного искусства» (1912) Как позднее писал Алексей Крученых в своих воспоминаниях «Наш выход»: «Помню, я предложил: «Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина». Маяковский добавил: «С Парохода современности». Кто-то — «сбросить с Парохода». Маяковский: «Сбросить — как будто они там были, нет, надо бросить с Парохода...» (Цит. по: «Серебряный век. В поэзии, документах, воспоми-

И не к таковым ли и были обращены слова из пушкинского «Поэта и толпы»:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог... Так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь». — ?

И не с обличением ли всемертвящей бессмыслицы их существования презрительно выступал Пушкин, говоря там же:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы...»

Так! Всё — так... Всё — верно!

Но Пушкин — слава Богу! — не только великий поэт, и не только «обличитель», и не только *истинный* националист, любивший *истинную, подлинную Россию...*

Пушкин — *вообще Иной...*

Гениальный — а потому и постоянно развивавшийся человек, сумевший постепенно подняться и над псевдо-«идеалами» своего времени, и, главное, главное — над самим собой!

Наверное, тут как раз и стоит напомнить мудрые и замечательно точные слова Гоголя о Пушкине, опубликованные

им в «Арабескх» в 1835 году (но написанные, пожалуй, еще ранее)*.

В имеющейся там статье «Несколько слов о Пушкине» мы читаем: «При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о *Русском национальном поэте* [выделено мной. — д. Г. М.]. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может... называться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нём, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал всё пространство. *Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление Русского духа: это Русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет* [выделено мной. — д. Г. М.]. В нём Русская природа, Русская душа, Русский язык, Русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла»**.

...Уйдя от поначалу довольно-таки привычного и для него самого, как и для всей окружавшей его среды — «теплохладного» понимания сути бытия (и в вере, и в любви, и в целокупности всего мировосприятия вообще), Пушкин (ко временам приведенной выше гоголевской оценки) уже твердо встал на путь к той «почести высшего звания» — поэта-христианина, когда перед ним во многом открылись совсем иные смыслы и предстали совсем иные задачи...

Вот о чем, например, говорил он А. О. Смирновой-Россет, и что мы узнаем из ее «Записок», изданных ее же дочерью Ольгой***: «Я и так краснею за то, что написал; я хотел бы все

* При издании П. Кулишом сочинений Н. Гоголя (СПб., 1857) время написания статьи было указано как 1832 г.

** *Гоголь Н. В. Арабески // Сочинения и письма Н. В. Гоголя. [В 6 томах] Издание П. А. Кулиша. Т. 2. С. 99.*

*** Записки А. О. Смирновой. СПб., 1894. С. 205.

Известны также и другие публикации «Записок» — из последних

взять назад и сжечь. К несчастью, успели так много переписать, что мне никогда не собрать всего. Но я уверяю вас, что никогда не убивал ни грамматики, ни здравого смысла, а мне приписывают все глупости, которые теперь ходят по рукам».

Порой «Записки» эти лишь комментируются, а порой и напрямую дополняются собственными словами дочери Смирновой — Ольги. Так происходит и в данном случае, когда она замечает: «Моя мать заговорила с ним о "Кинжале"*». Он ответил ей: «Это плохо, высокопарно! На самом деле [там] есть только два-три хороших стиха, но теперь я гораздо требовательнее. Мне кажется, что это стихотворение я писал на ходулях, так оно напыщено».

Как человек глуп, когда он молод! Мои герои того времени скрежещут зубами и заставляют скрежетать зубами меня самого».

изданий можно указать: *Смирнова-Россет. А. О.* Дневник. Воспоминания. М., «Наука», 1989; Она же. Воспоминания. Письма. М., 1990. См. также сокращенный вариант: *Смирнова-Россет А. О.* Неизвестный Пушкин. Записки 1825–1846. М., изд-во «Вече», 2017 (электронная версия — 2018).

В аннотации [впрочем, замечу — недостаточно точной] к книге «Неизвестный Пушкин. Записки 1825–1845 гг.» приводятся следующие данные: «Эта книга впервые была издана в журнале «Северный вестник» в 1894 г. под названием «Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет (с 1825 по 1845 г.)». Ее подготовила Ольга Николаевна Смирнова — дочь фрейлины русского Императорского двора А. О. Смирновой-Россет», имевшей честь быть другом и собеседником А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова. «Сразу же после выхода, книга вызвала большой интерес у читателей, затем начались вокруг нее споры, а в советское время книга фактически оказалась (прежде всего — из сугубо идеологических соображений) под запретом. В современной пушкинистике ее нередко обходят молчанием,.. И тем не менее у «Записок» были и остаются горячие поклонники... К ним, естественно, относится и автор этой книги.

* «Кинжал» — из достаточно ранних стихотворений Пушкина (1821 г.)

В одной из тетрадей (продолжает дочь Смирновой — Ольга) я нашла заметку [матери]: «Искра* принес мне поэму "Медный всадник". Он уже написал несколько строф. Он напомнил мне один вечер и видение, как Петр Великий скачет по петербургским улицам.

Я нашла описание наводнения превосходным, особенно начало: думы Петра на пустынных берегах Невы. Когда я высказала Пушкину мое восхищение, он улыбнулся и грустно спросил: — Вы, значит, находите, что в моей гадкой голове есть еще что-нибудь?

Я только вскрикнула. Он продолжал.

— Всё, что я пишу, — ниже того, что я хотел бы сказать.

Мои мысли бегут гораздо скорее пера, на бумаге все выходит холодно. В голове у меня все это иначе.

Он вздохнул и прибавил:

— Мы все должны умереть, не высказавшись. Какой язык человеческий может выразить все, что чувствует и думает сердце и мозг, все, что предвидит и отгадывает душа?»

[И вновь — дочь Ольга]: Мать прибавляет к этому: «Он часто падает духом, вдруг делается грустным, и чем прекраснее его произведение, тем он кажется недовольнее».

«Я [и тут — вновь слова А. О. Смирновой-Россет. — д. Г. М.] говорила об этом с Жуковским, и он ответил мне: "Что вы хотите, мысль гения и мыслителя — сверхчеловеческая; никакое слово не выразит ее вполне. Мы не так вдохновенны, как те, что писали священные книги, потому что мы не святые" ...»

При этом Пушкин всегда стремился быть достаточно трезво и рационально мыслящим человеком — с отнюдь не двоящимся, но всегда ответственным разумом: постепенно, но решительно и четко — мысль поэта всё более и более встраивалась в определения подлинно христианского бытия и подлинных его смыслов.

К концу жизни он многое, многое начал понимать...

* «Искра» — одно из прозвищ Пушкина в приятельском кругу.

8. Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ О «ЗАПИСКАХ» А. О. СМИРНОВОЙ-РОССЕТ КАК ВАЖНЕЙШЕМ ИСТОЧНИКЕ К ИСТОРИИ ПУШКИНА

**А. Пушкин: В альбом
А. О. Смирновой***

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный,
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело..

В этой небольшой главке не будет, надеюсь, далее ни одного моего слова — только Д. Мережковского, весьма тонко

* Стихи эти, написанные 18 марта 1832 г., — и как бы от лица самой Смирновой — должны были стать своего рода эпиграфом к ее запискам, которые она (по мысли Пушкина) и должна была писать в альбоме, подаренном ей поэтом.

понявшего, а потому и сумевшего по достоинству оценить «Записки» фрейлины Александры Осиповны Смирновой-Россет, изданные ее дочерью Ольгой; об этих мемуарах он говорит в очерке «Пушкин», включенном им в сборник статей «Вечные спутники» (впервые издано в 1896 г.).

Вот что писал тогда (по сути — почти сразу же после выхода в свет «Записок») Д. Мережковский: «Французский посол Барант*, человек умный и образованный, один из постоянных собеседников кружка А. О. Смирновой, говорил о Пушкине не иначе, как с благоговением, утверждая, что он — «великий мыслитель», что «он мыслит, как опытный государственный муж». Так же относились к нему и лучшие русские люди, современники его: Гоголь, кн. Вяземский, Плетнев, Жуковский.

Однажды, встретив у Смирновой Гоголя, который с жадностью слушал разговор Пушкина и от времени до времени заносил слышанное в карманную книжку, Жуковский сказал: «Ты записываешь, что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь. Попроси Александру Осиповну показать тебе ее заметки, потому что каждое слово Пушкина драгоценно. Когда ему было восемнадцать лет, он думал, как тридцатилетний человек: ум его созрел гораздо раньше, чем его характер. Это часто поражало нас с Вяземским, когда он был еще в лице».

Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более того — впечатление истинной *мудрости* производит и образ Пушкина, нарисованный в «Записках» Смирновой.

Современное русское общество не оценило книги, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху. Это непонимание объясняется и общими причинами: первородным грехом русской критики — ее культурной неотзывчивостью, и частными — тем упадком художественного вкуса, эстетического и философского образования, который, начиная с 60-х

* Амабль Г. П. Брюжьер, барон де Барант (1782—1866) — французский историк, публицист и политический деятель, почётный член СПб. Академии наук.



А. О. Смирнова-Россет (1809-1882)

годов, продолжается донныне и вызван проповедью утилитарного и тенденциозного искусства, проповедью таких критиков, как Добролюбов, Чернышевский, Писарев. Одичание вкуса и мысли, продолжающееся полвека, не могло пройти даром для русской литературы. След мутной волны черни, нахлынувшей с такою силою, чувствуется и поныне. Авторитет Писарева поколеблен, но не пал. Его отношение к Пушкину кажется теперь варварским; но и для тех, которые говорят явно против Писарева, наивный ребяческий задор демагогического критика все еще сохраняет некоторое обаяние. Грубо утилитарная точка зрения Писарева, в которой чувствуется смелость и раздражение дикаря перед созданиями непонятной ему культуры, теперь анахронизм: эта точка зрения заменилась более умеренной либерально-народнической, с которой Пушкина, пожалуй, можно оправдать в недостатке политической выдержки и прямоты. Тем не менее, Писарев, как привычное тяготение и склонность ума, все еще таится в бессознательной глубине многих современных критических суждений о Пушкине. Писарев, Добролюбов, Чернышевский вошли в плоть и кровь некультурной русской критики: это — грехи ее молодости, которые не легко прощаются. Писарев, как представитель русского варварства в литературе, не менее национален, чем Пушкин, как представитель высшего цвета русской культуры. Пушкин великий мыслитель, мудрец, — с этим, кажется, согласились бы немногие даже из самых пламенных и суеверных его поклонников. Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль. Эту сторону вежливо обходили, как бы чувствуя, что благоразумнее не говорить о ней, что так выгоднее для самого Пушкина. Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те — пророки, учителя или хотят быть учителями, а Пушкин *только* поэт, *только* художник. В глубине почти всех русских суждений о Пушкине, даже самых благоговейных, лежит заранее составленное и только из уважения к великому поэту

не высказываемое убеждение в некотором легкомыслии и легковесности пушкинской поэзии, побеждающей отнюдь не силою мысли, а прелестью формы. В сравнении с музою Льва Толстого, суровою, тяжело-скорбною, вопиющею о смерти, о вечности, — легкая, светлая муза Пушкина, эта резвая «шалунья», «вакханочка», как он сам ее называл, — кажется такою немудрою, такою не серьезною. Кто бы мог сказать, что она мудрее мудрых? Вот почему не поверили Смирновой. Пушкин, подобно Гёте, рассуждающий о мировой поэзии, о философии, о религии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества, — это было так ново, так странно и чуждо заранее составленному мнению, что книгу Смирновой постарались не понять, стали замалчивать, или, по обычаю русской журналистики, которая мало выиграла со времен Булгарина, непристойно вышучивали, выискивали в ней ошибок, придирались к мелким неточностям, чтобы доказать, что собеседница Пушкина не заслуживает доверия, а ее отношение к Николаю I сочли неблагоприятным с либеральной точки зрения. Сделать это было тем легче, что русское общество до сих пор не имеет своего мнения о книгах и ходит на помочах у критики. Еще раз, через 60 лет после смерти, великий поэт оказался не по плечу своей родине, еще раз восторжествовал дух Булгарина, дух Писарева, ибо оба эти духа родственнее друг другу, чем обыкновенно думают. Но книга Смирновой имеет свое будущее: в беседах с лучшими людьми века Пушкин недаром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академический и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится, наконец, критика, т. е. культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, — *«Записки» Смирновой* будут оценены и поняты, как живые заветы величайшего из русских людей будущему русскому просвещению. Историческое значение этой книги заключается в том, что воспроизводимый ею образ Пушкина-мыслителя как нельзя более соответствует образу, который таится в необъясненной глубине законченных созданий поэта и отрывков, намеков, заметок,

писем, дневников. Для внимательного исследователя неразрывная связь и даже совпадение этих двух образов есть неопровержимое доказательство истинности пушкинского духа в «Записках» Смирновой, каковы бы ни были их внешние промахи и неточности. Пушкин и здесь, и там — и в своих произведениях и у Смирновой, — один человек, не только в главных чертах, но и в мелких подробностях, в неуловимых оттенках личности. Нередко Пушкин у Смирновой объясняет мысль, на которую намекал в недоконченной заметке своих дневников, и наоборот — мысль, которая брошена мимоходом в беседе со Смирновой, становится ясной только в связи с некоторыми рукописными набросками и заметками. Смирнова открывает нам глаза на Пушкина, разоблачает в нем то, что мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали. Перед нами возникает не только живой Пушкин, каким мы его знаем, но и Пушкин будущего, Пушкин недовершенных замыслов, — такой, каким мы его предчувствуем по гениальным откровениям и намекам. Делается понятным, откуда и куда он шел, открывается высшая ступень просветления, которой он не достиг, но уже достигал. Еще шаг, еще усилие — и Пушкин поднял и вынес бы русскую поэзию, русскую культуру на мировую высоту.

В это мгновение завеса падает, голос поэта умолкает навеки, и в сущности вся последующая история русской литературы есть история довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшей волною демократического варварства, история могущественного, но одностороннего воплощения его идеалов, медленного угасания, падения, смерти Пушкина в русской литературе»*.

...И здесь — да простит меня читатель: я всё-таки вынужден нарушить данное мной в начале этой главки обещание — и все-таки вмешаться в текст Мережковского, ибо никак не могу

* Д. Мережковский. Вечные спутники. М., «Наука», 2007. С. 230—232.

согласиться со сказанным им в конце уже процитированного мной текста — в последнем предложении онго.

Сказано это было им, разумеется, не без некоего полемического задора, но, увы, во многом Мережковский действительно был прав: уже к концу XIX века в России слишком мало было людей, понимавших самый смысл явления в ней Пушкина. И тут не могли помочь даже благие устремления таких значительнейших фигур в русской литературе как тот же Ф. Достоевский с его знаменитой речью о Пушкине.

И сам Пушкин, и Достоевский говорили России об одном, а она (собственно — либеральствующая ее часть, ибо остальную часть, по сути, ни поэзия, ни Пушкин не интересовали вообще) воспринимала образ поэта — как «своего», то есть как тоже либерала, чуть ли не зовущего на баррикады, как борца с «проклятым царизмом», что было фактически абсолютной ложью, исторической неправдой, а отсюда и «неправедностью» вообще... Вот этот-то «грех неправедности» той русской интеллигенции и грозил Пушкину «смертью в русской литературе», но не было счастья — да несчастье помогло... Величайшее зло 1917 года коснулось и Пушкина. Сначала его память попытались окончательно зашельмовать, «сбросить с корабля современности» новой России, убить и даже сжечь, а когда это не вышло, то — приспособить к реалиям «революционного дня»... Но Пушкин и тут остался Пушкиным!

И говорить о его «смерти в русской литературе» явно не приходится и поныне.

А там: поживем — увидим... Что дальше будет...

9. ПУШКИН КАК «ПОЛИТОЛОГ»: ДЕМОКРАТИЯ? ПУСТОЕ СЛОВО... (ОБ АРИСТОКРАТИИ И ДЕМОКРАТАХ, А ТАКЖЕ О ХРИСТЕ И ХРИСТИАНАХ)

«Ум Пушкина» проявлялся порой не только в сфере культуры — в целом, как и в поэзии — в частности, но точно так же — и в общественной жизни, и даже — в области политики.

Почему-то до сих пор на это, насколько мне известно, мало обращалось внимания, хотя Пушкин со временем вполне мог стать и достаточно серьезным общественно-политическим деятелем*, И здесь весьма показателен текст П. А. Вяземского, излагающего мнение — в свою очередь — польского поэта А. Мицкевича (1798—1855) как раз по поводу такого качества Пушкина: «Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений»**.

* Наиболее толково эта тема была рассмотрена пока что, кажется, только С. Франком (см. его статью «Пушкин как политический мыслитель». Белград, 1937 г.). Или (то же): *Франк С.Л. Этюды о Пушкине*. М., 1999. С. 34—76.

** См.: *Вяземский П.А. Мицкевич о Пушкине // Он же. Эстетика и литературная критика / Сост., вступ. статья и коммент. Л.В. Дерюгиной.* — М.: Искусство, 1984; или: Вяземский П.

Примерно так же оценивал его и поэт Баратынский.

«Разбирая после смерти Пушкина его бумаги, Баратынский понял, что Пушкин был не только выдающимся поэтом, но и выдающимся мыслителем своей эпохи. "Можешь себе представить, — писал Баратынский одному из своих друзей, — что меня больше всего изумляет во всех этих письмах? Обилие мыслей. Пушкин — мыслитель..."»*.

Здесь же следует упомянуть и о столь живейшем его интересе к истории (в том числе — и к истории «политической») — причем не только прежней русской, но и общеевропейской, — как и к важнейшим событиям собственной эпохи.

В «Записках» А. О. Смирновой-Россет имеется, в частности, весьма любопытный материал — именно на эту тему, по-видимому, так и не привлечший до сих пор особого внимания литературоведов (вероятно, потому что это свидетельство не касается истории непосредственно поэтического творчества Пушкина), однако, зоршо показывающий всю широту интересов поэта.

Я имею в виду своего рода «лекцию», «озвученную» Пушкиным во время одной из его встреч с приятелями в петербургском салоне фрейлины А. О. Смирновой-Россет в начале 1830-х гг. и (что весьма любопытно!) посвященную именно понятию «демократии».

При этом Пушкин выступил как «политолог» своего времени, что, вероятно, вызвало даже некоторое удивление у присутствовавших: во всяком случае такова была реакция на пушкинские слова со стороны французского посла де Баранта, тогда же особо и отмеченная хозяйкой салона.

Сохранился довольно большой текст беседы (с участием самого А. С. Пушкина, князя П. А. Вяземского, Ив. П. Мятлева,

Биографическое и литературное известие о Пушкине. // Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 641.

* *Цит. по: Башилов Б.* Пушкин и масонство. // Сб. статей «А. С. Пушкин: путь к Православию». М., «Отчий дом», 1999. С. 345.

С. А. Соболевского, французского посла де Баранта и др.) — причем беседа эта была явно А. О. Смирновой-Россет же даже и застенографирована*.

Итак — вот этот документ.

Пушкин:

«По моему мнению, демократия, в том виде, как её понимают, только слово, не более».

де Барант:

«Что вы хотите [этим] сказать?»

Пушкин:

«Объяснять это очень долго».

[Однако Пушкина просят всё же объясниться, и он, продолжив беседу, произносит, по сути, целую речь: почему «истинная» демократия вообще невозможна, а потому и само понятие «демократия» на деле — всего лишь пустое слово, и не более того...

Вот что было сказано тогда участниками встречи — и Пушкиным преимущественно].

Пушкин:

«Мир разделён на две части: на аристократов и демократов, так как они одинаково существуют [и] в монархиях, и в республиках...

Следовало бы условиться относительно смысла, какой придаётся словам «аристократия» и «демократия». И даже вместо «аристократии» я предпочёл бы слово «олигархия», что более точно.

* Известно, что А. О. Смирнова-Россет весьма увлекалась стенографией, будучи одной из первых в России женщин-стенографисток.

Понятно, что названия эти лишены всякого действительного смысла в древних и восточных монархиях, где были лишь государи, неограниченные и деспотичные, или [же] касты, как в Индии. Ксеркс, Атилла, Тамерлан имели лишь рабов и царедворцев; в этих монархиях граждан не существовало. Итак, слова «олигархия» и «демократия» появляются там, где были граждане. Но так как жизнь древних, в Греции и Риме, была основана на рабстве, то хотя народ и посещал Форум, я не вижу истинной демократии в этих республиках, так как часть граждан [точнее — населения. — *д. Г. М.*] была в рабстве, и от него надлежало освободиться, чтобы сделаться чем-то вроде гражданина, да и то с очень ограниченными правами.

Спарта... считается представительницей олигархического правления в Греции, и Спарта немного внесла в человеческую мысль; но не её аристократизм, а её военные нравы — причина того, что у спартанцев жизнь мускульная оказалась преобладающей над жизнью умственной.

Афины считаются городом демократическим, и этому приписывают влияние этого города на ширь мысли, в этом думают найти тайну его гения. Это — заблуждение; и в Афинах были рабы, что противно демократическому равенству. Не потому, что система правления в Афинах была демократичнее, чем в Спарте, даровали Афины миру мыслителей, философов, из коих один — Аристотель — не имеет в себе ничего демократического, а другой — Платон — противник безусловного равенства... Век Фидия, век Праксителя и Апеллеса, век Перикла, Алкивиада и Аспазии не имеют в себе ничего демократического. Это литературно-образованное афинское общество по существу своему — общество аристократическое... Это наименее буржуазная среда, какая только существовала на свете».

де Барант:

«Я с вами согласен».

Пушкин:

«Все эти греки — умственные олигархи: они не особенно жаждут видеть простой народ сравнённым с людьми, которые правят на Агоре. Только это — граждане, а простолюдины изгнаны из их советов. Кроме того, умственно развитое и артистическое меньшинство граждан никогда не будет демократическим, так как учение это — прямая противоположность того, которого придерживается демократия. В учении этого меньшинства оказывается идея избранности, ограниченное число, [и] у них господствуют способности, которые всегда в меньшинстве; в демократии же преобладает число, количество вместо качества*... Брут в Риме — не что иное как олигархический трибун, который восстаёт против Царя.

Грачки требовали аграрных законов, права чисто экономического, но эти аграрные законы не предоставляли сельчанам политических прав. Рим — архи-олигархический город; он в своих гражданах видит лиц привилегированных; римский гражданин — это почётный титул, почесть.

Это крайне аристократично. Ни народ, ни рабы не имели в Риме и Греции истинных прав гражданства; в Риме жрецы, всадники, *Patres Conscripti* были олигархами, и милитаризм логически приводил к цезаризму...

Венеция, Генуя, Флоренция, несмотря на свои две партии — олигархии: никто меньше не гоняется за равенством, чем эти мнимые демократии, греческие и итальянские. И то же самое — во всей остальной средневековой Европе:

В обеих Империях, после Римской Империи, в феодальных королевствах, в республиканских олигархиях слово «демократия» не означает равенство, и даже под этой демократией не должно понимать народный элемент вообще...

Король нормандский в Бретани — первый барон королевства, и он понимает это так широко, что возводит в звание пера.

* Эти пушкинские слова вполне перекликаются со сказанными им и в статье «Джон Теннер».

Король французский также создаёт пэров, он первый дворянин королевства.

Остановимся ли мы на рыцарстве у сарацинов, у норманнов, на городских головах или на патрициях в Испании, в Португалии, в Нидерландах, во Фландрии, всё основано на олигархических принципах: парламенты и сеймы; даже во Франции существует дворянство меча и дворянство судейского плаща. Точно также было и в трёх скандинавских королевствах...

Наши города, в старину, несколько уподобляются итальянским городам, хотя в Новгороде и Пскове и избирают предводителей и судей, и избранные бояре — управляют избравшими их... Бояре вели и торговлю, как итальянские патриции в Венеции, Генуе, Флоренции...

Меня поразило это сходство; в германской Ганзе тоже господствует высшая буржуазия. Венеция титуловалась Всепреспетлейшей республикой, Новгород Великий именовал себя Господином...».

Вяземский:

«Значит, с твоей точки зрения, Пушкин, демократия — лишь звук пустой?»

Пушкин:

«С моей точки зрения, чтобы быть демократом, недостаточно не иметь частицы «де» и генеалогического древа. Это, мне кажется, факт. В известном смысле это [—] отвлечённое выражение; оно перестаёт быть отвлечённым, когда признаешь, что народ имеет до некоторой степени право выражать свои желания, свои потребности и избирать своих уполномоченных.

Наши веча, наши Земские Соборы — пользовались этим естественным правом; значит, нравы были демократические, но система уделов и феодальный царизм, который боролся с олигархами нашей Думы, не имели в себе ничего демократического».

де Барант:

«У вас был совет аристократов?»

Пушкин:

«Да, Боярская Дума; но если там рассуждали, подавали голос, подтверждали своей подписью указы Царей,.. то вече, которое созывалось старшими князьями, а также и младшими в их уделах посадниками... в вольных городах, — это вече состояло из всех граждан, но его созывали в особых случаях; эти русские форумы не управляли страной, и Дума также не управляла: она служила целям административным, так как в то время у нас не было бюрократии. Более древние удельные князья, заседавшие в Думе, не имели политических прав»

де Барант:

«Там заседали по праву рождения?»

Пушкин:

«Да, но Цари сажали туда также лиц, послуживших государству на войне или в посольствах, а также думских дьяков и простых дворян, так как это были образованные люди того времени. Как видите, система была смешанная...

Демократия предполагает правление в руках не только большинства, но всех; логически говоря, таково должно быть учение «демократов», но в применении оно невозможно.

Олигархия предполагает правление в руках ограниченного числа... Но с собраниями, с избранными, с избирателями — тотчас возникает борьба двух партий, и если верх возьмёт большинство — [то] меньшинство уже не имеет более голоса в управлении народом — оно побеждено.

Между тем — истинная демократия не может логически дать меньшинство, если только она верна своему учению. Аристократия, т. е. дворянство по крови, наследственное, связанное с владением землёй, просто произошло от семейных «патриархов», от главы каждой семьи. Понятие о семье, об отце, главе

дома — понятие аристократическое по существу. Слова: «дворянство», «аристократия», отвечающие феодальным понятиям, хотя [и] более древние, чем германская аристократия, так как уже в Риме существовали всадники и патриции, — теперь стали достоянием гостиных. Во все времена были избранные, предводители; это восходит от Ноя и Авраама... Роковым образом люди, при всех видах правления, подчинялись меньшинству или единицам; так что слово «демократия» — в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишённым почвы.

Великая Революция*, мне кажется, это доказала».

де Барант:

«А между тем это было торжество демократии, равенства».

Пушкин:

«Только в одном смысле: по отношению к торжеству третьего сословия над дворянством и королевской властью, и [к] уничтожению привилегий.

Но провозглашение прав человека было, собственно, для народа лишь фразой, точно так же, как и бывшие на эффект слова: "Ступайте и скажите королю, что мы здесь волею народа!" и проч. Это была даже ложь, так как Генеральные штаты созвал король, а отнюдь не народ в полном составе, да и никакая партия не предоставляла народу этого права. Единственные права были: привилегии дворянства, духовенства, льготы городов и третьего сословия, буржуазии, что ещё не составляет народа. Само же «третье сословие» никогда не было демократично, оно было только анти-аристократично; они часто держали сторону короля против крупных вассалов, эти господа буржуа».

Мятлев:

«Однако буржуазная демократия низвергла королевскую власть».

* Имеется в виду Великая Французская (д. Г. М.).

Пушкин:

«Не в Англии; демократия была ни при чём в представлениях Гампдена и Кромвеля: один Мильтон написал своё *Defensio Populi* (памфлет о защите народа), но все эти люди английской революции вовсе не поклонялись равенству.

Во Франции... третье сословие восторжествовало в 89-м году, и из него образовалась буржуазная аристократия. Привилегии уничтожили в 89-м году, [и это был. — *д. Г. М.*] первый шаг в деле равенства или демократии, но шаг призрачный, так как исчезла одна [лишь. — *д. Г. М.*] феодальная аристократия; [а] то, что её заменило, — отнюдь не проникнуто равенством, хотя бы и считалось демократическим».

де Барант:

«Я с вами согласен. Третье сословие сделалось новой аристократией, без грамот и без родословного древа, но, в сущности, ничто менее не говорит о равенстве. Демократия в том виде, в каком она существует, отнюдь не означает участие народа в делах правления, хотя бы он даже и подавал голос на выборах...».

Пушкин:

«Народные движения, жакерия, крестьянская война всегда исходили из проведённой по ним борозды; сельчан поднимают обезземеление и голод, а отнюдь не политические партии.

Они требуют лишь клочка земли, права свободного труда, без барщины, без десятины — вот вам сельская демократия, и она — истинная.

Но... всегда будет существовать налог на собственность, да и всё оплачивается: мостовые, освещение, вода, право въезда в города, ввоз товаров из других государств, дороги для народа, который воображает, что у правительства всегда есть деньги. Требования [же] государственной казны, налоги — всегда представляются притеснением, так как он [народ] не хочет понять,

что это одна из доходных статей государства, с помощью которых приводится в движение вся машина. Чем сложнее машина, тем дороже она стоит, и истинно демократическим делом было бы — упростить пружины, чтобы снять бремя с людей, [с] дворян, буржуа и простолюдинов, так как за поддержание машины платят все...

Пётр [Первый. — *д. Г. М.*] был демократом в широком смысле слова. Он понял, что люди выдающиеся, люди талантливые часто выходят и из народной массы, что гений проявляется во всякой среде: эти избранные и составляют умственную аристократию, так как они уже вышли из своей среды; в этом смысле [—] неравенство... так как эти люди возвышаются над своей природной средой.

В сущности говоря, неравенство — есть закон природы. В виду разнообразия талантов, даже физических способностей, в человеческой массе нет единообразия; следовательно, нет и равенства.

Был у нас один поэт, самый первый, он был также и научным гением, это — Ломоносов, сын крестьянина, архангельского рыбака».

де Барант:

«Один из пап был сыном английского пастуха, другой — сыном итальянского свинопаса, а Шекспир — тоже сыном пастуха. Конечно, у этих людей не было ничего общего с их средой, так же, как и у вашего Ломоносова».

Пушкин:

«Да, они были равны всем олигархам, и сын пастуха, и сын свинопаса повелевали* даже Императорами и королями.

В столь определённой иерархии Церкви, которая допускает [равно. — *д. Г. М.*] крестьянина и принца в ряды своих служителей, мы видим идеал равенства, но с различием в смысле

* Что ж, например, те же Римские папы...

должностей, обязанностей, а следовательно, и прав. Все эти иерархические ступени имеют своей исходной точкой — равенство, так как сын мужика может сделаться епископом и даже папой, последствием же их является избрание достойнейшего; вот так-то я и понимаю равенство и демократию, причём это нисколько не мешает избранным быть цветом данного общества — аристократией».

Соболевский:

«Как только у народа образуется цвет общества из мыслителей, учёных, писателей, художников, полководцев, государственных людей, будь они по рождению аристократы, буржуа или крестьяне, из них неизбежно образуется аристократия».

Пушкин:

«Пока люди образованные были лишь в рядах служителей Церкви, в монастырях, то миром, т. е. королями, рыцарями, буржуа, главами государств, Императорами управляла Церковь. С Карлом Великим папство ещё могло столкнуться, так как обе власти по степени цивилизации были близки друг к другу, но Церковь, более учёная, преобладала нравственно.

Когда дворянство начало преуспевать по части образования, оно стало играть новую, политическую роль по отношению к королям, которые тоже делались цивилизованнее; затем за книгу засело третье сословие и тотчас же стало стремиться к тому, чтобы сбросить с себя иго; в XVIII веке французская аристократия стала легкомысленной, утратила свою умственную силу и подпала под влияние очень образованного третьего сословия, с которым более серьёзные аристократы, естественно, пришли к соглашению. Если народ через сто лет станет тем, чем было во Франции третье сословие в 1789 году, он получит преобладание в силу своей цивилизации и вместе своей численности; это будет третья аристократия, умственная.

Но пока [—] существует аристократия денежная, плутократия, и она господствует в обществе, которое сделалось буржуазным. Теряет тут, главным образом, буржуазия, так как преобладание получается уже не в силу ума, а в силу денег».

Вяземский:

«Ты думаешь, что народ, масса, через сто лет сможет играть роль третьего сословия и что большинство будет образованным?»»

Пушкин:

«Нет, никогда не бывает умственно-развитого большинства [—] ни среди аристократии, ни среди буржуазии, ни среди народа сельского или городского, как не бывает в школе большинства прилежных и умных учеников.

Но ведь в революции все перемены — "к добру"; её всегда затевало меньшинство; толпа шла вслед как панургово стадо... За этими людьми шли, их поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими. Всё это является прямой противоположностью демократической системе, не допускающей единиц — этой естественной аристократии, которая ведёт за собою массы, управляет ими, направляет их.

Впрочем, слова "аристократия", "дворянство", "олигархия" имеют различные значения, и всякий придаёт им то, какое соответствует его [собственным] понятиям. Не думаю, чтоб мир мог увидеть конец того, что исходит из глубины человеческой природы, что, кроме того, существует и в природе — неравенство. Но очевидно, что несправедливые неравенства должны исчезнуть...».

де Барант:

«Так крепостное право у вас существует не с древних времён?»»

Пушкин:

«Годунов прикрепил крестьянина к земле в 1593 году; он заимствовал крепостное право из Польши. В старину у нас рабами были только военнопленные, да крестьяне нанимались пожизненно и даже детей своих отдавали внаймы на этих условиях, чтобы уплачивать долги, но они владели землёй и могли отправляться на работу куда им заблагорассудится... Дворянство даже протестовало против указа Годунова; в московских архивах имеются документы, которые подтверждают этот факт. Крепостное право тяготит нас всех, так как оно безнравственно, ненавистно, унижительно.

Спросите этих господ: согласны ли они со мной?»

Вяземский:

«В Германии оно было отменено только после 1820 года».

де Барант:

«До 1789 года у нас были крепостные, приписанные к королевским владениям, к аббатствам, были и остатки крепостного права в некоторых провинциях: в виде так называемых "прав господина". Крепостное право существовало повсеместно...»

Пушкин:

«Рабство, крепостное право — всё это, несомненно, должно было исчезнуть с появлением христианства...»

Вяземский:

«Потому что христианство — главным образом демократическое учение».

Пушкин:

«Да, знаю, это политический ярлык, которым его награждают с тех пор, как якобинцы прозвали Иисуса Христа санкюлотом — патриотом.

Это ложь, это даже нелепость — переряживать Его в якобинца и демагога!»

Вяземский:

«Не станешь же ты меня уверять, что Он был аристократом, хотя и повелел отдавать кесарево кесарю; да и жил Он среди бедных, среди смиренных».

Пушкин:

«Согласен, но Он никогда не отталкивал других, они Его оттолкнули».

Вяземский:

«Апостолы были простолюдинами».

Пушкин:

«Это факт; то были избранники, но кто тебе сказал, что они были избраны потому, что были простолюдины? Заметь в то же время, что волхвы — то есть цари — поклонились ему ранее народа, хотя пастухи и были при этом. Это и доказывает, что Он пришёл для царей, для мудрецов, для простых людей, для всего рода человеческого...

Галилейские рыбаки и люди учёные, как волхвы, Савл Тарсянин, один из аристократов синагоги, Иоанн — сын священника Захарии, и евангелист Иоанн, учёность которого не может подлежать сомнению, — могут в равной мере быть призваны и избраны без всякого внимания к их общественному положению; но это мне не доказывает, чтобы необходимым условием было — быть простолюдином, ремесленником и чтобы вдохновенность или святость составляли исключительный удел одного класса, в ущерб всем остальным...»

Вяземский:

«И ты из этого заключаешь?.. »

Пушкин:

«Что демократия тут ни при чём. Главнейший факт — появление волхвов, царей, мудрецов, которые приходят поклониться Ему и принести дары. А при конце два богатых человека, два аристократа того времени, Иосиф Аримафейский и Никодим, покупают гроб и хоронят Его. Итак, не следует злоупотреблять Христом на пользу богатых или бедных, как не должно говорить, что Он одобрял Тиверия, когда приказывал воздавать кесарево кесарю...»

де Барант смотрел на него с некоторым удивлением.

«Этот» Пушкин был ему неизвестен...»*

И тут запись беседы завершается...

Выводы, господа, делайте сами.

* Эти две строчки — явный комментарий А.О. Смирновой-Россет.

10. «ГЛУПЕЦ ОДИН НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ...» (ПУШКИН О РАДИЩЕВЕ)

*Согласно утверждению Ольги, дочери
А. О. Смирновой-Россет — одним
из любимых выражений Пушкина
(по воспоминаниям матери) было:
«Он просто глуп, и слава Богу».*

Помню — в школе мы когда-то «проходили» Радищева...

Точно не помню, но мне кажется — году так в 1956-м или 1957-м.

Его «подавали» нам как замечательного писателя своего времени и — чуть ли не великого (во всяком случае «выдающегося») революционера-правдолюбца *той* эпохи.

Слава Богу! — теперь его школьные позиции весьма и весьма пошатнулись, если не рухнули «насовсем»... Во всяком случае из официальной школьной программы он выкинут — и, надеюсь, что — навсегда...

И тут достаточно любопытно отношение к нему (и, замечу притом: да-да, весьма и весьма трезвое) — А. Пушкина.

Вот что писал он (и вновь напомним: вроде бы — «наше всё») о Радищеве.

«...Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым...

"Путешествие в Москву"... очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны... читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного.

В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидроta и Реналя; но всё в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале. Он есть истинный представитель полу-просвещения.

Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабое изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, — вот что мы видим в Радищеве»*.

Тут, кстати, мы находим и пушкинское объяснение его собственной былой приверженности идеям, близким «декабризму», — как вполне понятное проявление и в нем (в юные годы) — горячего, но, увы, весьма недалекого «идеализма».

Так, говоря об увлечении «молодых людей, пылких и чувствительных», принципами Просвещения, Пушкин, — вспоминая, верно, и о временах своей «молодости», — утверждает, что сказанное им некогда могло бы быть кому-то и непонятным, «если бы мы, по несчастю, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями. Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон

* Пушкин А. С. Статьи и заметки, для «Современника»: Александр Радищев. // Он же. Собрание сочинени в 10 тт.. М.: ГИХЛ, 1959—1962. Том VI. Критика и публицистика.

и оценена», и всё это «было потом обнародовано, проповедано на площадях и навек утратило прелесть таинственности и новизны. Другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими»^{*}.

Сам Пушкин в итоге всей своей жизни становится совсем иным — и человеком, и гражданином, с совсем иной системой мышления и с абсолютно иной шкалой духовных ценностей, далеко отстоящей от той, что прославлял он прежде — в своей поэзии юных лет...

Именно теперь для него совершенно естественным становится писать — как о былом своем «аольтерьянстве», так и о самом Вольтере — следующее: «Ничто не может быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал своё имя. Она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов, а любимым орудием её была ирония — холодная и осторожная, и насмешка — бешеная и площадная»^{**}. И если когда-то Вольтер был для Пушкина — «поэт в поэтах первый» и «везде великий» (см. пушкинский «Городок», 1814), то теперь он пишет о нем совсем, совсем иначе: «Влияние Вольтера было неимоверно... его разрушительный гений со всею свободою излился в цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов поругана... Истощённая поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия. Роман делается скучной проповедью или галереей соблазнительных картин... Наконец Вольтер умирает в Париже... Смерть Вольтера не останавливает потока. Министры Людовика XVI

^{*} Там же.

^{**} *Пушкин А. С.* О ничтожестве литературы Русской. // *Он же.* Собр. соч. в 10 тт. М., ГИХЛ, 1959–1962. Т. VI. Критика и публицистика. Статьи и заметки 1824–1836. Неопубликованное...

нисходят в арену с писателями. Бомарше влечёт на сцену, раздевает донага и терзает всё, что ещё почитается неприкосновенным. Старая монархия хохочет и рукоплещет.

Общество созрело для великого разрушения...»*

Пушкин именно так воспринимает европейское прошлое, а потому с большой тревогой смотрит и в будущее... И, похоже, ничего доброго в грядущем — ни Европы, ни его России — он не видит... И там, и там — прежняя глупость... И одни лишь «несбыточные мечты»...

«Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении... Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют...»**.

Так писал Пушкин весной 1836 года.

И, исходя именно из такого своего восприятия окружавшего мира, где всё меньше и меньше оставалось любви — подлинной христианской любви! — и заключает поэт свое мнение о Радищеве (вернемся вновь в этому чудаку) — следующими строками: «Какую цель имел Радищев? чего именно желал он? На сии вопросы вряд ли бы мог он сам отвечать удовлетворительно. Влияние его было ничтожно — те, кто «прочли его книгу... забыли ее, несмотря на то, что в ней есть несколько благоразумных мыслей, несколько благонамеренных предположений, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчливые и напыщенные выражения... с примесью пошлого и преступного пустословия. Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви»***.

* Пушкин А. С. Статьи и заметки, для «Современника»: Александр Радищев. // *Он же*. Собрание сочинени в 10 тт.. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Том 6. Критика и публицистика. Статьи и заметки 1824–1836. Неопубликованное...

** Там же.

*** Там же.

11. МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) И ПУШКИН

*Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...*

А. Пушкин

Известно, что Святитель Филарет (подробней речь о нем еще пойдет — но чуть ниже), будучи православным монахом, тем не менее, отнюдь не чурался — что, увы, чаще всего имело место тогда среди монашествующих России — проблем религиозного осмысления культуры и художественного творчества.

Именно поэтому и оказался возможным его стихотворный диалог о христианском понимании цели и смысла жизни — с Пушкиным. Поводом же к этому диалогу послужило созданное тогда поэтом стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...» («26 мая 1828 г.»)*, окрашенное глубочайшим внутренним пессимизмом, в котором пребывала тогда его мятущаяся душа, и начинающееся следующими строками:

* Написано поэтом в день своего рождения.

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Как вспоминал сам митрополит Филарет, ему это стихотворение привезла приятельница Пушкина Е. М. Хитрово, которой Владыка поручал иногда рассказывать поэту об отдельных московских событиях. Считая необходимым дать ответ Церкви на столь меланхолические и духовно безотрадные медитации поэта, говорившего тогда о себе: «Цели нет передо мною: / Сердце пусто, празден ум...», Филарет нашел полезным облечь и свое увещание (обращенное, конечно же, не только к известному петербургскому стихотворцу, но и ко всей образованной части христианского общества России) в стихотворную форму; поэтический ответ его вскоре же стал известен Пушкину. Вот это послание Владыки:

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомнением взволновал.

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум!



*Святитель Филарет и Пушкин
Иконописец, иеромонах Зинов (Теодор)*

Пушкин был настолько тронут этим обращением к нему московского Святителя, что ответил тому вот такими благодарными строками своего известного стихотворения:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

Говорят, что первоначально стихи эти заканчивались несколько иначе, а именно так:

Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

Однако — (якобы) по требованию цензуры — Пушкин был вынужден внести в последние строки существенные изменения, после чего конец стихотворения и приобрел свой нынешний «исправленный» вид (оно так всегда и печатается).

Цензурированная «арфа Филарета»? Что ж, возможно, так и было — хотя это и весьма-весьма сомнительно...

Скорей всего — поначалу (в качестве предварительного варианта) некоторое время «Филаретова арфа» и просуществовала — в ящике пушкинского стола, но в итоге — авторской же волей — была отброшена. Вероятно именно поэтому стихотворение и пролежало без всякого движения в авторском столе более года — до того как было напечатано... И получилось — во всех смыслах — гораздо, гораздо лучше...

Быть может, менее конкретно-лично, зато — более (в духовно-«общественном», общечеловеческом смысле) мощно, и даже более «метафизично»...

12. ПУШКИН И БИБЛИЯ

Стоит, пожалуй, особо отметить своеобразную, подчеркнутую «историчность» в восприятии Пушкиным христианства: для него оно было, по сути, основой всего бытия европейского мира — как точно так же и «мерой» всей европейской культуры. И недаром, чувствуя необходимость всеобщего (в том числе, разумеется, и для себя) христианского просвещения, он сетовал в одном из писем к родным на то, что ему, мол, так и не прислали Библию — и цитировал при этом историка Карамзина: «Библия для христианина то же, что история для народа»*.

* *Пушкин А. С.* Письмо Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной (от 4 декабря 1824 г. Из Михайловского в Петербург) // *Он же.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., «Наука». Ленингр. отд-ние, 1977–1979. Т. 10 (1979). Письма. № 101. См.: «...Михайло привез мне всё благополучно, а Библии нет. Библия для христианина то же, что история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде предисловие «Истории» Карамзина. При мне он ее и переменял».

Вообще же о значении христианства в жизни и творчестве великого поэта см.: *Митрополит Антоний (Храповицкий)*. Пушкин как нравственная личность и православный христианин. Белград, 1929; Россия и Пушкин. Сб. статей. Издание Русской академической группы. Харбин, 1937. *Митрополит Анастасий (Грибановский)*. Пушкин в его отношении к религии и Православной

Предельно живо ощущая неразрывную связь христианства со всей общечеловеческой историей, Пушкин утверждал: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. — История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. — История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы [в смысле — *христианской* системы духовных ценностей. — *д. Г. М.*]*...»

Однако, таким христианство являлось внутреннему взору поэта преимущественно, пожалуй, лишь в первой части его земного бытия — скорее всего где-то до конца 1820-х — начала 1830-х гг. Позже, судя и по стихам его, и по прозе, взгляд Пушкина — и на Христа, и на Его Царство — становится всё более глубоким, лично заинтересованным и, условно говоря, все более и более как раз «*сверх-историчным*», когда поэта постепенно начинает интересовать уже не столько история христианства и христианского мира, сколько *сама метаисто-*

Церкви (2-ое издание). Мюнхен, 1947 (также переиздание: М., 1991); *Он же*. Нравственный облик Пушкина. Джорданвилль, 1949; *Струве П. Б.* Дух и Слово Пушкина. Статьи. Париж, 1981; *Пушкин* в русской философской критике. М.: Книга, 1990; *Франк С. Л.* Религиозность Пушкина [1933] // Этюды о Пушкине. М.: Согласие, 1999. С. 7–33; *Дар*. Русские священники о Пушкине. Составители М. Д. Филин и В. С. Непомнящий. М., 1999; *Непомнящий В. С.* Пушкин. Русская картина мира. М., 1999; *А. С. Пушкин: путь* к Православию. Сост. А. Н. Стрижев. М.: Отчий дом, 1999; *Непомнящий В. С.* Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы. М.: «Сестричество во имя прпмуч. Великой Княгини Елизаветы», 2001; *Юрьева И. Ю.* «Библию, Библию!». Священное писание в творчестве Пушкина. (Интернет).

* *Пушкин А. С.* О втором томе «Истории Русского народа» Полевого [написано в сентябре—октябре 1830 г. — *д. Г. М.*] // *Собрание сочинений* в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1959–1962. Том 6. Критика и публицистика. Статьи и заметки 1824–1836.

рия — в том числе и *своя собственная, сверх-бытовая* — в грядущей вечности, во Христе Иисусе.

...Наиболее драгоценной для Пушкина частью Священного писания всегда оставался Новый Завет. И недаром в последний год жизни поэт создает вдохновенный панегирик в честь Святого Евангелия, о котором говорит так: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже *пословицею* народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием... если мы, пресыщенные [окружающим] миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие»^{*}; при этом здесь же Пушкин подчеркивает, несмотря на, казалось бы, всеобщую «известность» Евангелия, книга эта исполнена вечной новизны.

Разъясняя далее читателю — чем же столь прекрасно Евангелие, эта «Благая весть» Христова, поэт продолжает: «И не все... дерзнули мы упомянуть о божественном Евангелии: мало было избранных (даже между первоначальными пастьерыми Церкви), которые бы в своих творениях приближались кротостию духа, сладостию красноречия и младенческою чистотою сердца к проповеди Небесного Учителя»^{**}.

О любви Пушкина к Евангелию говорил и приятель Пушкина — П. А. Вяземский (в письме к А. Я. Булгакову: «...он имел сильное религиозное чувство, читал и любил Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их»^{***}).

* См. предисловие Пушкина к книге, изданной в Петербурге в 1836 г.: «Об обязанностях человека», сочинение Сильвио Пеллико // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. VIII. Изд-во «Academia», 1936. С. 276.

** Там же. С. 276–277.

*** Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 514.

В своих «Записках» А. О. Смирнова-Россет (как известно, одно время довольно часто встречавшаяся с поэтом), приводит следующий его рассказ: «Я читал Библию от доски до доски в Михайловском (ок. 1825 г.), когда находился там в ссылке, читал даже некоторые главы своей [няне] Арине, но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому... Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу: это был Исая*.

Я прочел отрывок, который перефразировал в «Пророке». Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение; я встал, чтобы написать его; мне кажется, что стихи эти я видел во сне...

Исайю я читал и раньше; на этот раз текст мне показался дивно-прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным писанием: сколько его не перечитай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

...Народ везде склонен к религии. Я хочу этим сказать, что народ чувствует, что Бог существует, что Он есть высшее существо вселенной, одним словом, что Бог есть... Я, в конце концов, пришел к тому убеждению, что человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластических формах — это мне внушило искусство...»**

* Здесь Пушкин имеет в виду входящую в состав Библии «ветхозаветную», так называемую «книгу» Св. Пророка Божия Исаяи. Впрочем, иногда встречается и вариант с якобы указанием Пушкиным не этого пророка, а пророка Иезекииля, что в данном случае невозможно, поскольку в пушкинском «Пророке» упомянут Ангел с клещами и горящим углем, что и соответствует библейскому рассказу именно об Исаяе (см.; Ис. 6: 6–7).

** См.: «Записки» А. О. Смирновой, урожденной Россет (с 1825 по 1845 гг.). Вероятно, здесь вновь стоит заметить, что А. Смирнова увлекалась стенографией, и вполне возможно, что некоторые

Судя по «Запискам» Смирновой-Россет», французский дипломат де Барант сказал ей как-то раз — после одного философского разговора с Пушкиным: «я и не подозревал, что у него такой религиозный ум, что он так много размышлял над Евангелием».

«Религия, — говорит сам Пушкин, — создала искусство и литературу, — все, что было великого с самой глубокой древности; все находится в зависимости от религиозного чувства... Без него не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности».

В другом месте своих воспоминаний та же А. Смирнова рассказывает о том, как Пушкин, беседуя однажды у нее с поэтом-философом А. С. Хомяковым о поэзии Библии, высказался (быть может, в пылу полемического задора и несколько даже излишне ригористично) о своем отрицательном отношении ко всяким вообще пересказам библейских текстов — в виде сокращенных «священных историй», утверждая, что «...Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения, передавать этот удивительный текст пошлым современным языком — это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здравого смысла. Мои дети будут читать Библию в подлиннике». «По-славянски?» — спросил Хомяков. «По-славянски» — подтвердил Пушкин; «я сам обучу ему».

Что ж — как здравый смысл, так и художественный вкус, Пушкину никогда не изменяли...

Кстати — о «здравом смысле». Некоторые почему-то считают, что вера — совершенно несовместима с рациональной мыслью, и что человек, трезво, разумно и честно мыслящий, не может не быть атеистом.

Однако как раз с нашим поэтом — этот номер не проходит!

И в этом смысле совершенно прав известный наш русский философ С. Франк, сказавший о Пушкине так: «Нам представляется очевидным парадоксальный факт: Пушкин преодолел

тексты с теми или иными высказываниями Жуковского, Пушкина и др. — были ею поначалу застенографированы...

свое безверие (которое было... скорее настроением, чем убеждением) первоначально на чисто *интеллектуальном* пути: он усмотрел глупость, умственную поверхностность обычного «просветительного» отрицания. В рукописях Пушкина 1827—28 годов находится следующая запись: «Не допускать существования Бога — значит быть еще более *глупым*, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге»*.

Показательно и то, что поэт считал хорошее знание Библии основой всякой подлинной образованности любого человека. И когда, например, Павел Вяземский, сын близкого друга Пушкина — Петра Вяземского, как-то раз беседовал с поэтом о своем желании поступить в Петербургский университет (который он впоследствии и окончил), то Пушкин, — как вспоминал Павел Петрович — «... постоянно и настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами Священного Писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового завета...»**.

И еще... В «Записках» Смирновой-Россет мы читаем: «Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что застал раз Пушкина с Евангелием в руках, и Пушкин сказал: «Вот единственная книга в мире: в ней все есть». Я сказал Пушкину: «Уверяют, что вы неверующий». Он расхохотался и ответил, пожимая плечами: «Значит они меня считают совершеннейшим кретином»***.

Такие вот дела, господа...

* Цит. Б. Модзалевским — в кн.: *Пушкин А. С.* Письма. Т. I. М. — Л., 1926. Прим. С. 314. Также в кн.: *Франк С. Л.* Этюды о Пушкине. М., «Согласие», 1999. С. 19.

** *Князь Павел Вяземский.* Собр. соч. С. 545—548 (Цит. по кн.: *Вересаев. В. В.* Пушкин в воспоминаниях современников — друзей, врагов, знакомых... М., 2017. С. 326—327.

*** *Смирнова О. А.* «Записки». СПб., 1895. Речь здесь шла о композиторе Федоре Глинке.

13. ПУШКИН О ПРОБЛЕМАХ ЦЕРКВИ В РОССИИ

Друг Пушкина А. С. Соболевский передал как-то раз А. О. Смирновой-Россет содержание одной из своих бесед с поэтом (суть сказанного тогда Пушкиным она и сообщает в своих «Записках»).

Тот так сказал Соболевскому: «После освобождения крестьян у нас будут — гласные процессы, присяжные, бóльшая свобода печати, реформы в общественном воспитании и в народных школах также.

Всё это придет свыше [т. е. от «государственной администрации». — *д. Г. М.*], и это будет — эволюция»...

...Затем Пушкин перешел к теме состояния и положения Церкви в будущей России — после отмены в ней крепостного права: «Нужно будет подумать также и о духовенстве»: необходимо «уничтожить сословие священников [точнее — не само их «сословие», а «сословность» священства, так как тогда священником мог стать, по сути, только сын священника. — *д. Г. М.*], и одно это эмансипировало бы духовенство, так как [нередко] священниками делаются, не имея к этому действительного призвания».

Пушкин был явно неудовлетворен положением Церкви в обществе, ее ролью и степенью ее деятельного влияния на оное, а потому и говорил о том, что «Церковь должна быть

активна и воинственна, так как она должна действовать, но для того чтобы действовать, нужно быть свободным и иметь апостольское и евангельское призвание».

Затем, сравнивая Православную Церковь России с католичеством Запада, Пушкин вполне резонно заметил: «Римская церковь располагает громадной силой в своих религиозных орденах, а наши монахи перестали даже заниматься наукою. Некогда они были единственными образованными людьми, а теперь, за небольшим исключением, сделались самыми темными».

Прежде у нас были епископы и монахи, очень полезные и деятельные в политической жизни».

Не менее критично Пушкин высказался и по поводу священства «в міру», заявив, что «Наше белое духовенство слишком пассивно, оно воображает, что, отслужив обедню, оно сделало все».

Увы, Пушкин и тут высказался довольно-таки верно... Например: где в России — подлинное миссионерское дело? Его никогда не хватало, по сути, ни внутри самой Церкви (а отсюда — и внутри самой страны) — что и показали затем все революционные противостояния в России, ни — точно также и «снаружи» (почитайте далее в этой же книге, в ее 3-ем «выпуске» — как плакался на эту тему Святитель Николай Японский...) И как тот же Пушкин со скорбью говорил об этом в своем «Путешествии в Арзрум» (причем имея тут в виду не одно же только монашество) — относительно мусульманских народов присоединяемого в ту пору Кавказа («путешествие» поэта состоялось в 1834 году).

Отмечая, что, например, черкесы «очень недавно приняли мусульманскую веру» и что они «были увлечены деятельным фанатизмом апостолов *Корана...*», Пушкин тут же указывает и на «средство» всеобщего примирения на Кавказе — «сильное... нравственное... сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия. Но, — продолжает он, — этим средством Россия донныне небрежет. Терпимость сама по себе вещь

очень хорошая, но разве апостольство с ней несовместно? Разве истина дана нам для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто еще из нас не думал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, доныне лишенным света истинного. Лицемеры! Так ли исполняем мы долг христианства? Кто из нас, муж веры и смирения, уподобится святым старцам, скитающим по пустыням Африки, Азии и Америки, в рубищах, часто без обуви, крова и пищи, но оживленным теплым усердием и смиренномудрием? Какая награда их ожидает? — Обращение престарелого рыбака, или мальчика, или странствующего семейства диких, а затем нужда, голод, иногда мученическая смерть. Кажется, для нашей холодной лености легче, взамен слова живого, выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты, чем подвергаться трудам и опасностям, по примеру древних апостолов и новейших римско-католических миссионеров. Мы умеем спокойно в великолепных храмах блистать велеречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем светские книги и важно находим в суетных произведениях выражения предосудительные. Предвижу улыбку на многих устах. Многие... подумают, что не всякий и не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина... там и берется, где попадет...»*

В итоге Пушкин заявляет: «Кавказ ожидает христианских миссионеров».

Что ж, Пушкин, конечно же, и тут был полностью прав.

Но, увы, ничто из сказанного им тогда — так и не нашло никакого живого отклика в Церкви, а потому мы и сегодня (и вполне закономерно!) имеем на Кавказе то, что имеем... Впрочем, уверен: даже и Кавказ в данном случае был лишь по-

* Существует несколько редакций этого пушкинского сочинения (с некоторыми разночтениями); но все они, по сути, лишь дополняют друг друга, будучи объединены одной общей пушкинской идеей необходимости христианского миссионерства, — почему и сведены здесь мной воедино.

водом для поэта — к постановке гораздо более серьезных вопросов.

Вот Пушкин их и ставил...

Ну, хотя бы относительно того — правильно ли исполняли и «исполняем мы долг христианства»?

Если вообще — исполняем...

14. ЗАКАТИЛОСЬ «СОЛНЦЕ»

Солнце нашей Поэзии закатилось!

В. Ф. Одоевский. «Литературное прибавление к «Русскому инвалиду», от 30 января 1837.*

Ах, вообразите, милая маменька, что здесь случилось. Пушкин, говорят, убит на дуэли... Теперь уже больше такого сочинителя не будет, как Пушкин; право, жаль его, и многие, я думаю, будут жалеть...

*Из письма Б. С. Шереметева***

«...Больше такого сочинителя не будет...» — так писал (и тоже 30 января 1837 г.) Борис Шереметев, ставший со временем композитором-любителем и ныне известный нам как автор созданного им в 1859 г. романса на слова Пушкина «Я вас

* Последний год жизни Пушкина... С. 504.

** Там же. С. 608.

любил...»*. Но в ту пору он был всего лишь юношей на 15-м году жизни: по сути — совсем еще «школьник»...

А что мы, старое поколение, вынесли о Пушкине по тому же поводу — его смерти — из, так сказать, «своей», советской школы?

Понятия, конечно же, достаточно лукавые и не слишком приятные...

Ну, скажите, кого может оставить равнодушным кончина и погребение замечательного поэта? — да еще при атеистической школьной накачке той поры, когда большинство так прямо и думало: всё... был — да сплыл; лопух и из него вырастет — и боле ничего-с... А жалко ведь!

Ну, еще говорили нам: какая-то там «эстетика»... «благодарная народная память»... «и милость к падшим призывал»... «почти «декабрист»... и «проклятый царь Николашка Палкин»... Ну, и всякую такую прочую дребедень и чепуху...

И при этом всегда стремилась присутствовать некоторая толика — просто самого обычного человеческого возмущения, казавшегося тогда многим из нас само собой абсолютно справедливым: «Вот — сволочи! Мало того, что затравили великого поэта — «обличителя проклятого царизма», так еще и проститься по-хорошему не дали (а всё — тот же царь-злодей и вся его «придворная клика»); и похоронить-то толком опять же не поспособствовали, и привезли-то как-то нехорошо к могиле — чуть ли не ночью и, конечно же, «под бдительным оком» премерзкой царской охранки! Засунули в ледяную яму — и дело с концом... Ну, в общем, сплошь — негодяи!»

Врали, конечно, но именно так — и именно этому — и «учили»...

* Борис Сергеевич Шереметев (1822–1906) — главный смотритель Странноприимного дома в Москве. Происходил из нетитулованной ветви рода Шереметевых. Известны также его романы: «Еще томлюсь тоской» на слова Ф. Тютчева, «Средь шумного бала» и «Грядой клубится белою» на слова графа А. К. Толстого.

Такие вот «возмущенные» представления о столь «при-
сorbной судьбе» поэта, складывавшиеся в итоге у абсолют-
ного большинства школьников — в силу повсеместного цар-
ствования тогда в стране фальшивой «большевицкой истории»
русской культуры — и вдалбливались в ту пору нам — в доста-
точно доверчивые (пусть у некоторых — так даже и в весьма,
вроде бы, «свободомыслящие») головы!

Но — что еще гораздо печальней — так это то, что многое
из той бессмыслицы, из тех нелепостей и даже прямой лжи —
и поныне оказывается продолжающим жить в головах россии-
ян... И в этом я убеждался не раз, интересуясь: а как смотрят
на «проблему пушкинских похорон» мои сограждане сегодня?

Так что же и как перевирали в прежние времена — в угоду
тогдашней коммуно-совковой идеологии — «дежурные» по со-
ветской стране «пушкинисты», и что же, судя вовсе не по их
заказным измышлениям, а «по-правде», происходило с похо-
ронами поэта, с прощанием с ним и с самой памятью о Пуш-
кине — на самом деле?

И тут уж точно: никак не обойтись нам без обширнейшего
цитирования первоисточников — писем, дневниковых записей
и т. п. свидетельств основных участников тогдашних событий
и современников Пушкина...

Впрочем, уверен, именно это и является наиболее интерес-
ным для сегодняшнего читателя.

Итак... 27 января (8 февраля по нов. ст.) 1837 г. в Петер-
бурге состоялась известная дуэль Пушкина с французом Жор-
жем Дантесом-Геккерном (1812–1895), служившим с 1834 г.
в русской армии (поручик Кавалергардского полка; приемный
сын нидерландского посланника, барона Л. Геккерна.

Поэт был смертельно ранен и скончался 29 января (10 фев-
раля)...

Что же происходило тогда — чуть ранее и затем?

И не по рассказам более-менее «заказной» «пушкинистики»
«либерастского» типа (равно — даже и «дореволюционной»,

и, тем более, коммуно-советской, ибо в ненависти своей к «монархии» они всегда совпадали и совпадают), — нет, а в реально-исторической, *подлинной* действительности...

Прежде всего, поговорим о тогдашних действиях Царя — как ответственного перед Богом и российскими законами — Самодержца...

И зададимся вопросом: чем же следует объяснить достаточно жесткую позицию Николая I относительно самого процесса погребения человека, которого он лично в достаточной мере уважал и — не побоюсь утверждать это — к которому в какой-то степени, похоже, даже стал со временем вполне искренне испытывать определенно добрые чувства?*

Какие же у меня основания — к столь всё еще странному для многих — последнему утверждению?

А как вам, друзья, будет вот такое, например, историческое свидетельство — о том, что даже и Императоры могут искренне *плакать*?

Об этом сообщает нам, например, П. И. Бартенев, достаточно известный в свое время пушкинист, который, публикуя еще в начале прошлого века в «Русском Архиве» переписку Государя Николая I с историком Карамзиным, после последнего карамзинского письма Императору от 15 мая 1826 г. делает тут же такую замечательную приписку: «Скончался Карамзин 22 мая. На другой день Николай Павлович заезжал поклониться его телу и заливался слезами. Одиннадцать лет спустя

* И недаром Ольга Смирнова, публикуя «Записки» своей матери — А. О. Смирновой-Россет, делает, между прочим, такое вот любопытное замечание: «Я утверждаю... то, что говорили и писали все истинные друзья Пушкина, [а] имепно, что Император Николай [I] не только оценил и понял Пушкина, но всегда о нем сожалел и не забывал его.

Его смерть была для него очень прискорбна.

У меня есть доказательства этого, которые я могла бы привести... доказательства, которые мне бы было легко обнародовать. Может быть я даже сделаю это, окончив издание «Записок»...»

он плакал о Пушкине, посылал Наследника к телу его, и ранним утром, когда было еще темно [тут уж можете верить или не верить словам Бартенева — кому как! — *д.Г. М.*], приходил к дому князя Волконского*, на Мойку, и спрашивал дворника о здоровье поэта»**.

Во всяком случае то, что Император беспокоился о здоровье Пушкина и даже посылал к нему за информацией Своего Наследника, отмечается также и в записках пушкинского приятеля В. А. Муханова***.

И, тем не менее, похоже, что подобные «факты», сами по себе не слишком уж и удивительные (и в любом случае — весьма человеческие), ученые — различные либерал-«пушкинисты» — явно *постарались* обойти полным молчанием...

Такие вот — весьма «избирательные» предпочтения...

Интересно — и с чего бы так?

...Впрочем, лучше обратимся к вопросу сохранения в период похорон Пушкина «государственного покоя» — когда в столице, действительно, не всё было тихо, и явно имело место тревожившее власть некое «общественное волнение».

В тот период в Петербурге фактически уже существовали две основные культурно-политические силы (пока что отличавшиеся друг от друга скорее внутренним настроением, или, так сказать, естественной «ориентацией» души).

Одни были более космополитичны и явно склонялись к западническому мироощущению, так сказать, «в быту» (в духе, скажем, тогдашнего шефа жандармов, известного начальника

* Там в это время жил на квартире — и умирал Пушкин...

** Император Николай Павлович и Карамзин в последние его дни // «Русский архив». 1906. № 1. С. 127.

Учитывая вовсе непростые отношения Государя с тем же Бенкендорфом (честным служакой, но, мягко говоря, не слишком глубоким политиком, считавшим того же Пушкина всего лишь (и навсегда «либералом» — и более никем!), такое вполне *могло быть*...

*** См.: Последний год жизни Пушкина. М., 1988. С. 629.

III Отделения, генерала А. Бенкендорфа или же, особенно (!) — министра иностранных дел К. Нессельроде *).

* И отнюдь не исключено, что именно канцлер Нессельроде (а также, возможно, и его супруга) — имели самое прямое отношение к созданию и дальнейшему распространению в Пееробурге гнусного анонимного письма, приведшего к вызову Пушкиным Дантеса на дуэль и к последующей гибели поэта. И недаром монарший Наследник, ставший впоследствии Императором Александром II, однажды, — как вспоминал князь А. В. Голицын: «будучи у себя за столом, в ограниченном кругу лиц, громко сказал: "Ну, так вот теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина; это Нессельроде (c'est Nesselrode)".

Слышал от особы, сидевшей возле Государя» (Московский пушкинист. М. 1927. Кн. I. С. 67). Впрочем, вряд ли стоит *полностью доверять* этому его заявлению...

Одно время в «пушкинистике» утвердилась мода считать, что авторами мерзкого подметного письма Пушкину, и послужившего поводом к дуэли, были два князя — П. В. Долгоруков и И. С. Гагарин, но доказательства их причастности оказались (как показали современные методы графологической экспертизы) полностью эфемерными, и до сих пор проблема авторства письма, по сути, остается нерешенной. То же самое утверждала и С. Абрамович в своей книге «Пушкин в 1836 году».

Выдвинутую же теорию о том, что автором анонимного письма «диплома» был *сам* Пушкин, сделавший этот, мол, «хитроумный ход» в процессе якобы собственного своего «самоубийства», я предпочитаю здесь не рассматривать вообще — как слишком уж экзотичный и пока что не имеющий под собой необходимых «документальных» оснований (см.: *Костин А. Г.* Тайна болезни и смерти Пушкина. — Источник: <http://pushkin-lit.ru/pushkin/bio/kostin-tajna-bolezni-i-smerti/tragicheskaya-razvyazka-1.htm>). Не говоря уж о том, что с позиции человека-христианина (а скажите на милость: кем еще явился Пушкин в итоге — как не христианским лириком-мыслителем?) подобная «теория» представляется не слишком уж нравственной и явно не соответствует ни характеру, ни «смыслу личности» самого поэта...

Другая же часть общества была более склонна к отечественным традициям, к непосредственно русским обычаям и к русской отечественной культуре.

К сожалению, первые занимали в общем довольно-таки, говоря современным языком, «руссофобскую» позицию (при этом сам Пушкин предпочитал называть их попросту «светской чернью»*)...

Смерть поэта, безусловно, не могла — до известной степени — не активизировать противостояния этих двух общественных настроений (и, соответственно, стоявших за ними групп)...

Так, характеризуя тогда душевное состояние второй из них, — С. Н. Карамзина говорит относительно смерти Пушкина, что, по поводу ее, «это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия...»**.

В. Жуковский — в свою очередь — отмечает степень накала при этом национальных чувств и пишет, что «...Весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского...»***.

А княгиня Е. Н. Мещерская писала, что «В течение трех дней, в которые тело его оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания непрерывно теснилось пестрою толпой вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны,

* И, как известно, именно «светская чернь» бывает предельно шкурной: так она проявила себя и в дни прощания с Пушкиным... Как рассказывали братья Россет П. Бартеневу, «...Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании [к нему] Царя...» (Последний год жизни Пушкина... С. 570).

** Там же. С. 578.

*** А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985. Т. 2. С. 417.

которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга, с изумительным мужеством принесшего свою жизнь в жертву чести, и в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было *три отечества и два имени*. Можно ли после этого придавать цену общественному мнению или, по крайней мере, мнению нашего общества, бросающего грязью в то, что составляет его славу, и восхищающегося слякотью, которая его же запачкает своими брызгами...»*

Весьма подробно рассказал о всех основных событиях гибели и церковного отпевания Пушкина В. А. Жуковский в письме к отцу поэта — Сергею Львовичу (от 15 февраля 1837 г.).

Из письма и мы узнаем о том, что «...Более десяти тысяч человек приходило взглянуть на него: многие плакали; иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его; было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения, и что-то умирительно-таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума...»**

1 февраля состоялось отпевание поэта в церкви «на Конюшенной».

Затем, как пишет Жуковский, — «Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему остаться до вывоза из города.

3 февраля в 10 часов вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина, отпели последнюю панихиду, ящик с гробом поставили на сани; сани тронулись; при свете месяца несколько времени я следовал за ними; скоро они поворотили за угол дома, и всё, что было земной Пушкин, навсегда пропало из глаз моих»***.

* Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 569-570.

** Там же. С. 550.

*** Там же. С. 550-551.



Могила Пушкина в Святогорском монастыре.

*Литография Клюквина
(по рисунку с натуры Соколова). 1837 г.*

...Окончание же всей этой прискорбной истории состоялось в Святогорском монастыре.

Из III-го Отделения заранее было направлено послание псковскому губернатору А. Н. Пещурову — с выражением «воли Государя Императора»: воспретить «всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом сякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина»*.

Как писал А. И. Тургенев: «4 февраля, в 1-м часу утра или ночи отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан»**.

Уже к вечеру того же дня все они были в Пскове, а 5 февраля прибыли в соседнее с пушкинским Михайловским имение — Тригорское (неподалеку от монастыря) — «к госпоже Осиповой... Мы у ней отобедали, а между тем она послала своих крестьян рыть могилу для Пушкина, в монастырь...»***. Затем «и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское»****.

Тургенев же сообщает в одном из писем, что тело поэта «внесли в верхнюю церковь и поставили до утра там; могилу рыть было трудно в мерзлой земле...»****, а «6 февраля, в 6 часов утра отправились мы — я и жандарм — опять в монастырь... отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли а могилу; выронил несколько слёз...»*****.

Чуть дополняют рассказ А. И. Тургенева воспоминания дочери хозяйки Тригорского — Е. И. Фок-Осиповой (1823—

* Там же. С. 588—589.

** Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. М., 1987. С. 250.

*** Последний год жизни Пушкина... С. 591.

**** Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 251.

***** Последний год жизни Пушкина. С. 591—592.

***** Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 251.

1908): «Матушка оставила гостей ночевать, а тело распорядилась взять теперь же в Святые Горы вместе с мужиками из Тригорского и Михайловского, которых отрядили копать могилу. Но ее копать не пришлось: земля вся промерзла, — ломом пробивали лёд, чтобы дать место ящику с гробом, который потом и закидали снегом. На утро, чем свет, поехали наши гости хоронить Пушкина, а с ними и мы обе: сестра Маша и я, чтобы, как говорила матушка, присутствовал при погребении хоть кто-нибудь из близких. Рано утром внесли ящик в церковь, и после заупокойной обедни всем монастырским клиром, с настоятелем, архимандритом, столетним стариком Геннадием* во главе, похоронили Александра Сергеевича в присутствии Тургенева и нас, двух барышень [повидимому, похоронили неглубоко, в основном присыпав снегом. — *д. Г. М.*]. Уже весной, когда стало таять, распорядился Геннадий вынуть ящик и закопать его в землю уже окончательно»**.

«Никто из родных так на могиле и не был. Жена приехала только через два года, в 1839 году»***.

* Об архимандрите Геннадии упоминается в книге «Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии. М., 2003; в основе ее — книга игумена Иоанна Мазя «Описание Святогорского Успен. Монастыря Псковской епархии». 1899 С. 78, 103.

** Последний год жизни Пушкина. С. 593—594.

*** Там же. С. 594.

15. ЦАРЬ БЫЛ ВЫНУЖДЕН... И: «ВОТ КАК Я УТЕШЕН!»

...Почему, отчего и зачем власть проявила тогда — кажущиеся нам ныне несколько всё же излишними — суровость и даже жесткость, не слишком, мол, оправданные, поскольку речь шла всего лишь о прощении российского общества со своим поэтом, и, казалось бы, более ни о чем?

Однако, повторю, внутривоюшная ситуация была на тот момент, увы, отнюдь не безоблачной.

Как писал впоследствии Н. М. Смирнов: «...Боялись волнения в народе, какого-нибудь народного изъявления ненависти к Геккерну и Дантесу, жившим на Невском, в доме княгини Вяземской (ныне — Завадовского), мимо которого церемония должна была проходить...»^{*}.

То же подтверждают и записи пушкинского знакомого В. А. Муханова, «погребальная процессия долженствовала идти мимо [дома] голландского посланника [Геккерна], но полиция, узнав, что народ собирается бить стекла посланнической квартиры, изменила порядок печального шествия»^{**}.

^{*} А. С. Пушкин в воспоминаниях современников... Т. 2. С. 279.

^{**} Последний год жизни Пушкина... С. 631.

Примерно те же сведения мы находим и у А. И. Тургенева: «Публика ожесточена против Геккерна, и опасаются, что выбьют у него окна»*.

Наконец, о том же говорил и князь П. А. Вяземский. При чем он утверждал, что именно вмешательство полиции и пресекло возможный бунт возмущенных горожан, и что, если бы в то время полиция оказалась бы менее деятельной, то это вполне могло привести к «дикой персидской демонстрации. Впоследствии мы нередко встречали людей скорбевших и то-сковавших, что не дали, для чести русского имени, разыграть ненависти к надменным иноземцам»**.

Как ни расценивать подобную «ненависть» — но в любом случае она грозила в известной мере нарушить общегородской порядок в столице, чего Государь никак допустить не мог...

Тем более — еще весьма живо помня о «декабристах»***.

Царь был попросту *вынужден сложившимися обстоятельствами* пойти на весьма строгие меры, лично вовсе не стремясь проявить какое-либо неуважение к памяти великого поэта, а всего лишь желая сохранить мирную жизнь в Петербурге.

К тому же Государь должен был учесть начавшийся уже, по сути, тогда революционный процесс в России — процесс, всячески поддерживаемый (и в известной мере — провоцируемый) недобрыми для страны, а порой попросту и не понимавшими — в чем состоит ее истинная польза — силами (типа того же «декабризма»). И он, как Самодержец, обязан был соблюсти

* Вересаев В. Пушкин в воспоминаниях современников — друзей, врагов, знакомых... М., «Алгоритм», 2017. С. 470.

** А. С. Пушкин в воспоминаниях современников... С. 199.

*** К тому же, Государь должен был помнить о схожей ситуации, когда те же будущие «декабристы» использовали для общественной дестабилизации похороны К. П. Чернова, дравшегося осенью 1825 года на дуэли с В. Д. Новосильцевым (также получившим смертельное ранение), превратив их в своего рода уличную «демонстрацию».

всю меру законности, тем более, что лично для него Закон был всегда «свят», и при всей своей определенной доброте, он стремился не нарушать законность даже и касательно близких ему людей... И точно так же Николай относился и ко всем другим*.

Итак, Император должен был, так сказать, «погасить» «похоронные страсти», связанные со смертью Пушкина, и в то же время отнюдь не показаться обществу сколько-нибудь «анти-пушкинистом», поскольку он им отнюдь и не был...

Государь всячески стремился выразить свое — чисто человеческое — уважительное отношение к славе Пушкина как поэта, о чем свидетельствует ряд его действий в те трагические дни. И тут нельзя не упомянуть, прежде всего, об известной записке Царя к умиравшему поэту.

Так как сам Пушкин еще совсем недавно (в ноябре 1836 г.) обещал Николаю не участвовать ни в каких дуэлях — и, однако, нарушил данное им слово, то сразу же и просил доктора Арендта передать Царю свою — по сути уже предсмертную — покаянную просьбу о прощении.

* Кстати, здесь весьма показательно, например, решение Царя послать в качестве сопровождающего тело Пушкина в Святогорский монастырь не Данзаса, как просила его вдова поэта — Наталия Николаевна, а другого приятеля Пушкина — А. И. Туева. Как сказал Государь в ответ на ее просьбу: «...Он сделал все, от Него зависевшее, дозволив подсудимому Данзасу [поскольку дуэли были вообще запрещены в России, то по поводу и этой все ее участники — в том числе и пушкинский секундант Данзас — автоматически оказались «под следствием». — *д. Г. М.*] остаться до сегодняшней погребальной церемонии при теле его друга; и что дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона — и, следовательно, невозможно; но Он прибавил, что Тургенев, давнишний друг покойного, ничем не занятый в настоящее время, может отдать этот последний долг Пушкину и что Он уже поручил ему проводить тело...» (Из письма А. Бенкендорфа Г. Строганову от 1 февраля 1837 г. — См.: Последний год жизни Пушкина. М., 1989. С. 587).



Император Николай I. 1830-ые годы.

Имеются, между прочим, два любопытных свидетельства-«воспоминания» той поры о Государе Николае I-ом:

«Император, как и другие члены династии, считал своим долгом лично опекать петербургские учебные заведения — в первую очередь Смольный институт благородных девиц и Морской кадетский корпус. Помимо долга, это было и удовольствием. Среди детей, взрослых без родителей, Николай мог по-настоящему расслабиться. Так, плешивый (подобно Александру I), он всю жизнь франтился и носил тупей — небольшой паричок. Но когда у него родился первый внук, как вспоминал один бывший кадет, Николай приехал в корпус, подобросил в воздух накладку с плешки и заявил обожавшим его детям, что поскольку теперь он стал дедушкой, то больше надевать тупей не станет», и еще одно: «Государь играл с нами; в расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него, плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух. Любовь к себе он умел вселять в детей; был внимателен к служащим и знал всех классных дам и дядек, которых звал по именам и фамилиям» (Лев Жемчужников. «Мои воспоминания из прошлого»).

Узнав — в довольно-таки позднее время (ближе к ночи) — о случившемся, Государь тут же написал Пушкину записку, тотчас же и переданную через доктора Арендта поэту (при этом Государь сказал, что по прочтении записку будет необходимо ему вернуть).

Вот ее текст:

«Если Бог не велит уже нам увидеться на этом свете, то прими Мое прощение и совет умереть по-христиански и причаститься, а о жене и детях не беспокойся. Они будут Моими детьми, и я беру их на свое попечение»*.

Когда Арендт прочитал Пушкину это письмо, то тот вместо ответа поцеловал его и долго не выпускал из рук; но Арендт не мог его оставить ему.

Несколько раз Пушкин повторял: «Отдайте мне это письмо, я хочу умереть с ним. Письмо! где письмо?» Арендт успокоил его обещанием испросить на то позволение у Государя**.

* Последний год жизни Пушкина... С. 465.

В воспоминаниях пушкинского секунданта К. Данзаса, записанных А. Аммосовым, приводится чуть отличающийся вариант текста, но в основном схожий: «Любезный друг, Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими Мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, Я беру их на Свое попечение» (Там же. С. 456). И, как заметил еще И. М. Андреев: «Подлинник записки не сохранился, но Жуковский, Вяземский, Тургенев и доктор Спасский, — все приводят приблизительно одинаковый текст» (*Андреев И. М.* — А. С. Пушкин (Основные особенности личности и творчества гениального поэта)//Сб. статей «А. С. Пушкин: путь к Православию». М., 1999. С. 63–64).

** Последний год жизни Пушкина... С. 542.

И не зря 29 января Д. Фикельмон (дочь Е. М. Хитрово, внучка М. Кутузова, жена австрийского посланника в России) записала в своем дневнике: «Пушкин, которого так часто упрекали в либерализме, в революционном духе, [—] поцеловал это письмо Императора и велел Ему сказать, что он умирает с сожалением, так как хотел бы жить, чтобы быть Его поэтом и историком!» (Там же. С. 626). Что ж, в пушкинских словах («был бы весь Его») надежды

Согласно воспоминаниям семейного пушкинского доктора И. Т. Спасского — еще перед возвращением доктора Арендта с государевой запиской — «...по желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился.

— За кем прикажете послать? — спросил я.

— Возьмите первого ближайшего священника, — отвечал Пушкин.

Послали за отцом Петром, что [служил] в [церкви на] Конюшенной* ...

В 8 часов вечера возвратился доктор Арендт. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную потребу: больной исповедался и причастился Святых Тайн...»** И, как показало ближайшее будущее, это исполнение поэтом последнего «христианского долга» сыграло важнейшую роль в духовной составляющей ухода Пушкина «в мир иной»...

Государя и его *русской* России вполне оправдались...

* Там же. С. 463.

Здесь упомянут протоиерей Петр Димитриевич Песоцкий, один из священников Народного ополчения Петербурга в 1812 году. В период 1831–1841 гг. он являлся настоятелем ближайшего к Пушкину храма Нерукотворенного Образа Спасова: храм этот относился к Конюшенному Дворцовому ведомству, находясь, к тому же, на Конюшенной площади Петербурга. Именно здесь поэт встречал в 1834 году Святую Пасху.

** Там же.

Протоиерей Петр был под большим впечатлением от благоговейного характера пушкинской исповеди и причащения поэта. «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать, — сказал он тогда же княгине Е. Н. Мещерской. — Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я самому себе желаю такого конца, какой он имел». О глубоком духовном настрое поэта отец Петр говорил и князю Вяземскому...

Что ж, такое преобразование души человеческой (тем более — перед самой уже кончиной человека) — дорогого стоит...

Вообще Пушкин, по натуре своей, был добрым человеком.

И в этом смысле чрезвычайно показателен один момент, имевший место в дуэли поэта с Дантесом-Геккерном и свидетельствующий именно о природной пушкинской доброте. Когда, — как рассказывает А.И. Тургенев, — Геккерн [т.е. Дантес. — *д.Г. М.*] упал от полученной контузии, и Пушкин на минуту думал, что он убит, доброта сердца в Пушкине взяла верх, и он сказал (по-французски) приблизительно так: «Подумать только! Мне казалось, что его смерть доставит мне удовольствие; теперь же чувствую, что это почти огорчает меня!»*.

Факт — в своем роде весьма и весьма показательный...

И потому вовсе и не удивительно, что именно после предсмертной беседы Пушкина с о. Петром и состоявшегося Таинства Причащения духовная жизнь поэта явно приобретает (и что важно — накануне вот-вот уже готовой свершиться его смерти) гораздо большую определенность и насыщенность: он уже не просто «природно», а вполне сознательно и по-христиански осмысленно хочет «умереть христианином», запретив кому-либо мстить за себя Дантесу.

По свидетельству П. А. Вяземского, пушкинский приятель-секундант «Данзас, желая выведать, в каких чувствах умирает он [Пушкин. — *д.Г. М.*] к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти — касательно Геккерна? «Требую, отвечал он ему, чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и хочу умереть христианином»**. Таким образом, Пушкин отныне не допускает уже мысли о мести врагу, что особенно замечательно, если мы вспомним слова, сказанные им

* Там же. С. 501.

Есть еще одна «редакция» (но, правда, несколько менее «гуманная») этого же высказывания, а именно: «Придя в себя, он спросил д'Аршиака: «убил я его?» — «Нет, — ответил тот: — вы его ранили». — «Странно, — сказал Пушкин: — я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем».

** Там же. С. 516.

прежде д'Аршиаку — о том, что он после выздоровления еще продолжит дуэль с Дантесом.

...Как сообщает доктор Спасский: «Приезда Арендта он ожидал с нетерпением. — Жду слова от Царя, чтобы умереть спокойно, — промолвил он»*.

А на вопрос В. Жуковского, решившегося как раз после этих слов Пушкина отправиться к Государю (с рассказом ему о происходящем): «Что сказать от тебя Царю?» — поэт отвечал: «Скажи, жаль, что умираю, весь Его бы был...»**

И далее Жуковский продолжает: «... я рассказал о том, что говорил Пушкин: — «Я счел своим долгом сообщить эти слова немедленно Вашему Величеству. Полагаю, что он тревожится [также и] о участи Данзаса»***. — «Я не могу переменить законного порядка, — отвечал Государь, — но сделаю все возможное. Скажи ему от Меня, что Я поздравляю его с исполнением христианского долга; о жене же и детях он беспокоиться не должен: они [—] Мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги: ты после их сам посмотришь».

Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом Государя. Выслушав меня, он поднял руки к Небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен! — сказал он...»****

* Там же. С. 465.

** Там же. С. 464–465. Кстати, по поводу этих пушкинских слов Жуковскому, Вяземский, передавая их смысл следующим образом: «Скажите Государю, что жалею о потери жизни, потому что не могу изъявить Ему мою благодарность, что я был бы весь Его!», тут же и высказался относительно их так: «Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце мое по чувству, с коим были произнесены...» (Там же. С. 514).

*** Как уже говорилось, Данзас, секундант Пушкина (как и все остальные участники дуэли), находился тогда под следствием.

**** Там же. С. 544.

16. КАК ВЛАСТЬ ВОСПРИНИМАЛА ПУШКИНА: «ВЕЛИКИЙ ПОЭТ» ИЛИ (И) «ВЕЛИКИЙ ЛИБЕРАЛ»?

Говоря о роли Государя в «посмертной судьбе» Пушкина, следует отметить несколько моментов.

Во-первых, хотя в самом погребении поэта и не было выражено стремления совершить этот акт сколько-нибудь торжественным образом, однако, воля Пушкина была полностью исполнена, и местом упокоения его стал, естественно, Святогорский монастырь, где и раньше погребали членов его семейства, и где сам он за год перед тем похоронил родную мать (там, собственно, и находилась их семейная усыпальница).

При этом — и отнюдь не в силу какого-либо «коварного» желания III Отделения, а по причине существовавшего тогда общего порядка — был выправлен и необходимый для погребения в монастыре документ (точно так же — как это совершалось и в случае похорон других членов семьи)*.

* Например, сам Пушкин привез тело матери для погребения в Святогорском монастыре — по следующему документу: «Согласно открытому листу от 31 марта за № 1344-м, выданному за подписью министра внутренних дел, и указу Псковской духовной консистории от 8 апреля за № 1211, по просьбе сына скончавшейся в С.-Петербурге г-жи Пушкиной, дозволено перевезти тело ее в Святогорский монастырь для погребения на родовом кладбище» (Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь Псковской епархии. М., 2003. С. 119–120).

Во-вторых, Госулярь обещал очистить от долга заложенное имение отца поэта.

В-третьих, Государь выплатил все долги поэта различным частным лицам, а это была весьма и весьма немалая по тем временам сумма — 92, 5 тысячи рублей!*

В-четвертых, «финансово» были «пристроены» все члены пушкинской семьи (пенсион — вдове и дочерям до замужества последних), сыновей — в пажи... денежные суммы им на воспитание — до поступления их на службу.**

В-пятых, издавались за казенный счет (причем в пользу семьи) сочинения Пушкина***.

* Последний год жизни Пушкина... С. 655—656. (Письмо графа Г. А. Строганова к В. А. Жуковскому).

Кроме того, было решено, с учетом мнения Государя, также ликвидировать и пушкинский долг государству, связанный, как правило, с издательскими делами Пушкина (что обычно остается почему-то вне поля зрения «пушкинистов»), — попросту «списав» этот долг, а это была также немалая сумма (более 40 тысяч рублей!)... «По повелению Николая I после смерти Пушкина был «скинут» его долг казне — 43,333 р. 33 к. и выдано на уплату частных долгов его — 92,500 р.» (См.: Дела III Отделения собств. Его Импер. Вел. канцелярии об А. С. Пушкине. СПб., Изд. И. Балашова. 1906. С. 203).

** А. И. Тургенев не приминул заметить в письме к А. И. Нефедьевой по этому поводу: «... следов. [ательно], всего 11 т. р. в год и 10 т. р. одновременно на погребение...» (Последний год жизни Пушкина... С. 570).

*** Уже в марте 1837 г. Жуковский представил Николаю I проект издания полного собрания сочинений Пушкина в семи томах. Однако в самом ходе издания произошли некоторые изменения: и уже в 1838 г. вышли не семь, а восемь томов, а в 1841 г. — еще три добавочных тома.

И, наконец, одновременно (на похороны) — 10 тысяч руб.)*.

Следует также добавить и то, что было завершено судебное разбирательство относительно самой дуэли: Дантес-Геккерн разжалован и изгнан из России, а секундант Пушкина — Данзас (за которого особо, как за «брата», просил Царя умиравший поэт) отделался вполне формально — всего лишь двумя месяцами гауптвахты...

Тогда же из России был выслан и «гнусный каналья» (по выражению Государя) — голландский посланник Геккерн.

...Но при всём, при том — личная позиция Государя в пушкинском «деле» (и это, безусловно, необходимо подчеркнуть) была предельно двойственна.

С одной стороны — он явно склонялся к благожелательности — этим и можно характеризовать его отношение к Пушкину: как к просто «политически» честному и весьма умному человеку. И, — как поздней вспоминала дочь Николая I — Великая Княгиня Ольга, — её отец, пытаясь (насколько это было возможным для него) идти навстречу поэту, «надеялся таким образом дать возможность свободного взлета гению, заблуждения которого обнаруживали пылкую, но не испорченную душу»; Государь «проявлял к нему интерес, как к славе России»**.

* Подобное же сообщение мы находим и в письме Е. А. и С. Н. Карамзиных А. Н. Карамзину (от 2 февраля 1837 г.): о назначении Государем Натали ежегодной пенсии в 5000 рублей, и о всем прочем, но тут также появляется и более подробное известие о том, что по решению Императора «на казенный счет в пользу детей [поэта] будет выпущено полное собрание его сочинений, которое, верно, разойдется немедленно. Поверишь ли, что за эти три дня было продано четыре тысячи экземпляров маленького издания «Онегина»...» (Там же. С. 580).

** Там же. С. 604—605).

Тут же, между прочим, Ольга еще раз говорит о Пушкине именно как о «гении»: «После Пушкина ни одно имя не может сравниться с его именем. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев — прелест-

Но в то же время Николаю I отнюдь не безразлична была некоторая недостаточность (по его мнению) «церковности» в Пушкине, пусть, безусловно, и уходившая постепенно — из всё более мудреющего поэта, но которую Царь отнюдь не собирался не замечать вовсе.

И, скажем, тут Николай I, например, явно различал особо любимого им историка-писателя Карамзина — и Пушкина.

И недаром, как свидетельствует А.И. Тургенев в одном из своих писем, Государь сказал В. Жуковскому — в ответ на просьбу того написать указы от лица Императора о пенсиях пушкинскому семейству (причем сделать это так, как он делал это ранее в отношении семейства умершего Карамзина): «Ты видишь, что я делаю все, что можно, для Пушкина и семейства его и на все согласен, но в одном только не могу согласиться с тобою: это в том, чтобы ты написал указы как о Карамзине. Есть разница: ты видишь, что мы насилу довели его до смерти христианской (разумея, вероятно, совет Государя исповедаться и причаститься), а Карамзин умирал как ангел». И тут А. Тургенев добавляет: «Конечно так: Государь не мог выхвалять жизнь Пушкина, умершего на поединке... но он отдал должное славе русской, олицетворившейся в Пушкине»*.

Но, главное: перед Николаем тогда стояла, естественно, такая важная задача, как необходимость быть Императором, заботящимся о судьбе России, а отсюда — и стремление к сохранению с ней необходимого порядка..

И, прежде всего, к сохранению общественной тишины и политического спокойствия в столичном Петербурге, хотя сами средства, избранные для того полицией, были весьма и весьма

ные таланты, но ни один из них не гений».

О реакции же отца на самую гибель Пушкина она сказала так: «Можно представить себе впечатление на Папа. Эта смерть Пушкина была событием, общественной катастрофой. Вся Россия горячо отнеслась к его кончине, требуя возмездия. Папа собственно ручно написал умирающему слова утешения...» (Там же).

* Там же. С. 571.

сомнительны... Но ведь и дни кончины поэта, и последующие похороны Пушкина (как показало тогдашнее состояние общества) — явно не способствовали наиболее мирному течению жизни в столице...

И притом всё же следует заметить (и тоже — подчеркнуть), что довольно неразумной представляется позиция тогдашнего главы III Отделения — А. Бенкендорфа, безусловно, желавшего всех благ России, но довольно примитивно понимавшего — в чем же, собственно, они заключаются и как их следует сохранять и умножать...

И в этом смысле хорошей иллюстрацией к сказанному может служить официальный документ — под названием «Отчет о действиях корпуса жандармов — за 1837 г. ».

Вот нужный нам фрагмент из этого документа (прочитай который, только, как говорится, «руками и разведешь»): «В начале сего года умер от полученной на поединке раны знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями Государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоит из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина; собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова.

Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину — либералу, нежели к Пушкину поэту. — В сем недоумении и имея в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби

о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, — высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено»*.

Причем, замечу, само «исполнение» происходило, безусловно, с «благословения» Государя, основательно «запуганного» Бенкендорфом и его «благомыслящими людьми». И, увы, но следует признать: Государь, к сожалению, так и не сумел до конца достойным образом ответить на вызовы становившегося всё более сложным «исторического времени» России.

Ибо попытки III Отделения как-то «затруднить» общественное поклонение поэту: перемена места его отпевания (поначалу предполагавшееся в Адмиралтейском храме), перенесение тела ночью (по сути — тайком. и в присутствии большого числа жандармов) из пушкинской квартиры в «Конюшенную церковь», недопущение к телу Пушкина многих, желавших проститься с усопшим, — всё это явно выглядело несколько «неловко».

И столь же мало оправданным было и «неожиданное» назначение Императором военного парада (на следующий день после отпевания Пушкина, когда гроб его стоял — в ожидании отправки в Святогорский монастырь — в особом помещении при храме); при этом войска были специально расположены так, чтобы перекрыть все доступы к «Конюшенной церкви», а сама храмовая улица оказалась при этом занята различными армейскими обозами...

Действия III Отделения, имевшие место в Петербурге в ту пору и якобы должны были в корне пресечь «неприличную картину торжества либералов», на самом деле лишь загоняли проблему внутрь и оставались, по сути, не слишком действенными, но зато весьма раздражающими само российское общество, настроенное достаточно патриотично и явно уже требовавшее гораздо более серьезного к себе отношения... И тут

* Там же. С. 596.

деятельность Бенкендорфа — как и излишняя прямизна его мышления и самих его «определений» — «политически» представляются в известной степени весьма примитивными и почти что, можно сказать, «топорными»...

И не зря — и предельно справедливо! — утверждал тогда князь П. А. Вяземский: «...какое невежество, какие узкие и ограниченные взгляды проглядывают в подобных суждениях о Пушкине! Какой он был политический деятель! [?] Он прежде всего был поэт...»*

И, замечу: не было ли, скажем, проявление в то время в Москве (или, хотя бы, некое усиление роста) идей «славянофильства» — реакцией на петербургский «бенкендорфизм», пытавшийся самым отсталым (в сугубо политическом смысле) образом бороться с «призраком либерализма» в России (и что удивительно — опираясь при этом в немалом на систему как раз «западных ценностей») — когда явно пора уже было вступать в борьбу не с «призраком» либерализма, а с ним самим, всё более определенно звучащим в Российской Империи, — причем бороться по-русски, на основе своих собственных, Русских же «нравственных ценностей»?!

И навряд ли тогда возникал бы «недоуменный» вопрос: был ли Пушкин «либералом» или «просто поэтом»?

Ибо он был просто — *русский Пушкин!*

Или — как чуть шире сказал об этом же В. Жуковский в известном своем письме к А. Бенкендорфу (от 25 февраля/ 8 марта 1837 г.): «Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом всё, что дорого русскому сердцу»**.

* Последний год жизни Пушкина... С. 533.

** Там же. С. 558.

17. А ЧТО ДУМАЛИ О ПУШКИНЕ БЛИЖАЙШИЕ ЕГО ПРЯТЕЛИ?

...Именно в особом, большом письме А. Х. Бенкендорфу и попытался было В. А. Жуковский разъяснить основные «недоумения», возникшие тогда у III Отделения относительно Пушкина*, но — увы...

Впрочем, думаю, что такое дело вряд ли кому-нибудь вообще бы удалось... Ибо само определение сложившейся в ту пору ситуации — когда «народное изъявление скорби о смерти Пушкина» квалифицировалось как лишь «некоторым образом неприличная картина торжества либералов» — уже говорило само за себя...

Обращаясь к Бенкендорфу, Жуковский, прежде всего, заявил, что смерть Пушкина «всё обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его [—] буйные годы первой молодости и которое давило пылкую душу его до самого гроба, теперь должно, и, к несчастью, слишком поздно, уничтожиться перед явною очевидностию. Мы разобрали его все бумаги. Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе, враждебном против правительства и вредного нравственности. Вместо того нашлись бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей...

* Там же. С. 551—565.

Он сам про себя осудил свою молодость и произвольно истребил для самого себя все несчастные следы ее*.

Что же из сего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно не тот, каким видели его в первые? Но таково ли было об нем ваше мнение?..

Годы проходили; Пушкин созрел; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал «Годунова», «Полтаву», свои оды «К клеветникам России», «На взятие Варшавы», то есть все свое лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нем все указывали на его оду «К свободе», «Кинжал», написанный в 1820 году; и в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего...

Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же его произведениям даете вы ему такое имя? По старым или по новым? И какие произведения его знаете вы, кроме тех, на кои указывала вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно? Ведь вы не имеете времени заниматься русскою литературою и должны в этом

* И как раз в свете всех приводимых на страницах этой книги свидетельств (а их — множество!) о весьма по-христиански взаимно-добрых (пусть и не совсем простых) отношениях между Николаем I-ым и Пушкиным — предельно лживыми и попросту смехотворными выступают слова бывшего — вполне «советского» — комментатора по поводу сказанного В. Жуковским — «Этот домысел Жуковского ни на чем не основан». И ведь подобную глупость и поныне можно встретить порой в том же Интернете... Хотя сегодня ведь — не 1937 год, когда в одной их вышедших тогда к 100-летию со дня кончины поэта книг так прямо и писалось: «Всю свою жизнь Пушкин оставался непримиримым врагом самодержавия... Недаром палач и жандарм на троне — Николай I и его придворная свора так ненавидели Пушкина» (В. Ф. Широкий. Пушкин в Михайловском. Л., 1937. С. 164, 165), и т.д. и т.п... Что ж, таковым — как говорится, «хоть кол на голове теши...» Да опять же — и время такое было... Которое, впрочем, до известной степени вот такие «Широкие» тогда и создали...

случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года; это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастьем.

Это, однако, не помешало (без всяких доказательств) причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим на жизнь Александра. За его напечатанные же сочинения и в особенности за его новые, написанные под благотворным влиянием нынешнего Государя, его уже никак нельзя назвать демагогом...»*

...И интересно — спрошу тут уж и я: стал бы Государь издавать 11 томов полного собрания сочинений какого-то там всего-навсего «демагога»?

В. Жуковский далее продолжал: «Что же касается до политических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности, вы осуждены видеть притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам <о нем> другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я сообщу Вашему Сиятельству в немногих словах политические мнения Пушкина, хотя наперед знаю, что и мне вы не поверите, ибо и я имею несчастье принадлежать к тем оригиналам, которые известны вам по одним лишь ошибочным переводам.

Первое. Я уже не один раз слышал и от многих, что Пушкин в Государе любил одного Николая [как «всего-навсего» лишь

* Последний год жизни Пушкина. С. 554—558.

человека], а не Русского Императора и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин [здесь говорится о том, кем, каким был он в последнее десятилетие жизни] — решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного Самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему Государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Ча [а]даеву).

Второе. Пушкин был решительным противником *свободы книгопечатания*, и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитой обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола*.

Третье. Пушкин был враг Июльской революции. По убеждению своему он был карлист**; он признавал короля Филиппа необходимою гарантиєю спокойствия Европы...

* В целом же отношение Пушкина к цензуре было определено им в ряде высказываний (в частности — в одном из его писем к Бенкендорфу) следующим образом: «Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство в праве не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придёт... Закон не только наказывает, но и предупреждает. Это даже его благодетельная сторона... Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Что составляет величие человека, ежели не мысль? Да будет же мысль свободна, как должен быть свободен человек: в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом».

** «Карлисты» — здесь имеются ввиду представители монархического движения в Испании, объединившихся в 30-х гг. XIX в. вокруг претендента на престол — донна Карлоса, герцога Луи-Филиппа Орлеанского, в итоге и провозглашенного (после Июльской революции 1830 г.) королем Франции.

Наконец, *четвертое*. Он был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатиком.

Таковы были главные, коренные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо вы с ним никогда об этих материях не говорили; да вы бы ему и не поверили, ибо, опять скажу, ваше положение таково, что вам нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера была вниманием, и что вы принуждены насчет других верить именно тем, кои недостойны вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, которые... иногда одним словом, брошенным на ветер, убивают доброе имя. Как бы то ни было, но мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой буйных демагогов. И они были таковы уже прежде 1830 года. Пушкин мужал зрелым умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения, которому не мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, что не изменившееся в течение десяти лет останется таким и на целую жизнь и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был как двадцатилетний шалун. Ваше Сиятельство не могли заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры... А эти выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждых стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, [вами] было видно возмущение»*.

* Там же. С. 558—559.

И далее Жуковский, в нескольких строках совершенно верно обрисовывая всю тогдашнюю ситуацию, подводит ей следующий итог: «Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен...»*

Затем Жуковский переходит непосредственно к пушкинским похоронам и весьма откровенно (мягко говоря) осуждает не слишком разумные действия полиции,

«...Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его [—] француз, принятый в нашу службу... этот француз преследовал жену Пушкина, и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов... Жертвою иностранного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут дивиться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно... Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же дивиться, что все ужаснулись, что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?»

Весьма естественно, что, после того как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему как к любимому русскому поэту оживился безвременною трагическою смертию (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостью; в других, и, вероятно, во многих, было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть,

* Там же. С. 560.

и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного...»*

Затем Жуковский переходит и к последней важной проблеме, затронутой в его письме, а именно к вопросу о так называемом «заговоре», что весьма, по-видимому, муссировалось тогда в III—ем Отделении.

«...По слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и проч.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки... Все подобные толки суть естественное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъяснения опасения, ибо и опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей»**.

Далее Жуковский перешел к самим действиям полиции против «заговора», якобы имевшего, по мнению Бенкендорфа, в то время место в столице (что, собственно, и привело к активизации возглавлявшееся последним III-го Отделения).

Жуковский возмущенно пишет: «Но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны бы были иметь особенную натуру, чтобы, в то время как их душа была наполнена глубокою скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какою-то

* Там же. С. 560—561.

** Там же. С. 561—562.

целию, которой никаким рассудком постигнуто быть не может. Раз допустивши нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики суть друзья Пушкина, следствия этой идеи сами собою должны были из нее излиться. Мы день и ночь проводили перед дверями умирающего Пушкина; на другой день после дуэли, то есть с утра 28 числа до самого выноса гроба из дома, приходили посторонние, сначала для осведомления о его болезни, потом для того, чтобы его увидеть в гробе, — приходили с тихим, смиренным чувством участия, с молитвою за него и горевали о нем, как о друге, скорбели о том великом даровании, в котором угасала одна из звезд нашего отечества, и в то же время с благодарностию помышляли о Государе, который, можно сказать, был впереди нас тем участием, что так человечески, заодно с нами выразил в то же время. [Молились] За Государя, очистившего, успокоившего конец Пушкина, простое трогательное, христианское выражение национального чувства — и все это делалось так тихо; более десяти тысяч человек прошло в эти два дни мимо гроба Пушкина, и не было слышно ни малейшего шума, не произошло ни малейшего беспорядка; жалели о нем; большая часть молилась за него, молилась и за Государя... Что же тут было, кроме умиленного, кроме возвышающего душу? И нам, друзьям Пушкина, до самого того часа, в который мы перенесли гроб его в Конюшенную церковь, не приходило и в голову ничего иного, кроме нашей скорби о нем и кроме благодарности Государю... ибо Он утешил его смерть, призрел его сирот, уважил в нем русского поэта как Русский Государь и в то же время осудил его смерть как Судия верховный. Какое нравственное уродство надлежало иметь, чтобы остаться нечувствительным пред таким трогательным величием и иметь свободу для каких-то замыслов, коих цели никак себе представить не можно и кои только естественны сумасшедшим.

Но, начавши с ложной идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных; они произведут и ложные меры. Так здесь и случилось. Основываясь на ложной идее (опровергнутой выше), что Пушкин — глава демагогической партии,

произвели и друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам... Из этого сделали заговор, увидели какую-то тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанные, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все самое простое и обыкновенное представилось в каком-то таинственном, враждебном свете... Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадей отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от Университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после по слухам). Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаться, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело»*...

* Там же. С. 562—565.

Примерно то же самое (и те же самые факты) описал и князь П. А. Вяземский — в письме к брату Царя, Великому Князю Михаилу Павловичу*.

Как возмущенно заявил он: «факт тот, что в ту минуту, когда всего менее этого ожидали, увидели, что выражение горя к столь несчастной кончине, потере друга, поклонения таланту были истолкованы, как политическое и враждебное правительству движение... Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом; осмелились, со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, приписали им чувства, враждебные властям, утверждая, что не друга, не поэта оплакивали они, а политического деятеля... Я должен всё это высказать Вашему Высочеству, так как сердечно этим огорчен и дорожу Вашим уважением. Клянусь перед Богом и перед Вами, что всё, чему поверили, или хотели заставить поверить о нас, — была ложь, самая отвратительная ложь. Единственное чувство, которое волновало меня

* Там же. С. 521—535.

К судьбе Пушкина, кроме Михаила Павловича, безусловно, равнодушна была и сестра Государя — Великая Княгиня Елена Павловна, писавшая 27 января В. А. Жуковскому: «Добрейший г. Жуковский! Узнаю сейчас о несчастье с Пушкиным — известите меня, прошу Вас, о нем, и скажите мне, есть ли надежда спасти его. Я подавлена этим ужасным событием, отнимающим у России такое прекрасное дарование, а у его друзей — такого выдающегося человека. Сообщите мне, что происходит и есть ли у Вас надежда, и, если можно, скажите ему от меня, что мои пожелания сливаются с Вашими. Елена» (Там же. С. 465).

А в одном из писем А. И. Тургенева есть такого же рода упоминание и о другой сестре Николая I — Анне: «Великая Княгиня Анна Павловна беспрестанно присылала и письменно справлялась о страдальце-поэте и о его семействе» (Там же. С. 572).

И недаром К. Данзас вспоминал: «Государь, Наследник, Великая Княгиня Елена Павловна постоянно посылали узнавать о здоровье Пушкина; от Государя приезжал Арендт несколько раз в день...» (Там же. С. 490).

и других друзей Пушкина в это тяжелое время, была скорбь о нашей утрате и благодарность Государю за всё, что было великодушного, истинно-христианского, непосредственного в Его поступке, во всем, что сделал Он для умирающего и мертвого Пушкина...»*

Переходя же далее к обвинениям со стороны Бенкендорфа в якобы либеральной оппозиционности Пушкина, Вяземский заявляет: «Шутки, некоторая независимость характера и мнений — еще не либерализм и не систематическая оппозиция. Это просто особенность характера. Желать, чтобы все характеры были отлиты в одну форму, значит желать невозможного, значит хотеть переделать творение Божие. Власти существуют для того, чтобы пресекать злоупотребление подобными тенденциями — это их обязанность, но бить тревогу и бросать грязью в некоторые, хотя бы и слишком свободные... излияния, в какую-нибудь вспышку, которая и сама улетучится, как дым, — есть, в свою очередь, злоупотребление властью. Да Пушкин никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции... Он был глубоко, искренно предан Государю, он любил Его всем сердцем, осмелюсь сказать, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к Нему...»**

И завершает князь деловую часть своего послания следующими прискорбными строками: «Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. Но разве те, кто их составлял, знали Пушкина лучше, чем его друзья? Разве наши должностные лица, обязанные наблюдать за общественным настроением умов, стараются вникнуть в истинные мнения (узнав их от них же самих) тех людей, чье доброе имя и благосостояние зависят от их суждений и предубежденности? Разве генерал Бенкендорф удостоил меня, хотя бы в продолжение четверти часа разговора, чтобы самому лично узнать меня? А между тем целых десять лет мое имя записано

* Там же. С. 530—533.

** Там же. С. 534.

на черной доске; своим же мнением обо мне он обязан несколькими словам, отрывкам, которые ему были переданы, клеветам, занесенным ему каким-либо агентом за определенную, месячную плату...»*

И т. д. и т. п.

* Там же. С. 535.

18. И ВСЁ-ТАКИ, И ВСЁ-ТАКИ... НУ ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ ЖЕ «ЗАКАТИЛОСЬ СОЛНЦЕ»?

Смерть Пушкина была, конечно же, вполне закономерна...

Но каковы были ее *внутренние причины*?

Или так: *почему же он умер?*

Думается, прежде всего, *потому — что попросту не захотел более жить...* Во всяком случае — *жить там, где он жил, и жить так...*

В этом смысле весьма показательны воспоминания достаточно близкой приятельницы поэта — баронессы Е. Н. Вревской, в которых она утверждала, что «встретившись за несколько дней до дуэли» с нею «в театре, Пушкин сам сообщил ей о своем намерении искать смерти. Тщетно та продолжала его успокаивать, как делала то при каждой с ним встрече. Пушкин был непреклонен. Наконец она напомнила ему о детях его. — «Ничего, — раздражительно отвечал он. — Император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их под свое покровительство»*.

И, по сути, он ведь точно так же — прямо и ясно — сказал об этом и своему секунданту Данзасу, когда они ехали уже после дуэли домой к Пушкину: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне об этом ска-

* Вересаев В. В. Пушкин в воспоминаниях современников — друзей, врагов, знакомых... М., 2017. С. 396.

жешь! Меня не испугаешь: *я жить не хочу!*»* [курсив мой. — д. Г. М.].

И, как вспоминал впоследствии В. И. Даль — когда смерть уже вплотную приближалась к раненому поэту: «Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться с смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил... Больной положительно отвергал утешения наши и на слова мои: «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» — отвечал: «Нет, мне здесь не житьё: я умру, да, видно, *уже так надо*» [курсив мой. — д. Г. М.]. В ночи на 29 [января — день смерти поэта, по ст. стилю. — д. Г. М.] он повторял несколько раз подобное... спрашивал отрывисто и с расстановкою: «Долго ли мне так мучиться? пожалуйста, поскорее»**.

Совершенно прав был Д. Мережковский, писавший в известном своем очерке «Пушкин»: «Смерть Пушкина — не простая случайность. Драма с женою, очаровательною Nathalie, и ее милыми родственниками — не что иное, как в усиленном виде драма всей его жизни: борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только довершила то, к чему постепенно и неминуемо вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению, возвращаясь к сердцу народа, все более отрывался он от так называемого «интеллигентного» общества, становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен, казался «кромешником», как он сам себя называл с горькою иронией. Кто знает? — если бы не защита Государя, может быть, судьба его была бы еще более печальной. Во всяком случае, преждевременная гибель — только последнее звено роковой цепи...»***

* Последний год жизни Пушкина.... С. 509.

** Там же. С. 492.

*** Д. Мережковский. Пушкин. «Вечные спутники».

Пушкин был поэтом, считавшим, что «...Поэзия бывает исключительною страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни...»* Но разве такой была его жизнь в последние ее годы? Разве такими были «наблюдения» и «впечатления», «объемлемые» тогда его поэзией?

И Пушкин со всё большей ясностью понимает это!

«Разочарование» Пушкина в «земной» жизни начинает постепенно проступать — уже в самом его творчестве — ближе к середине 1830-х гг. Хотя «мотив смерти» появляется у поэта гораздо раньше: он звучит уже в стихотворении «Дорожные жалобы» (...Не в наследственной берлоге, / Не средь отческих могил, / На большой мне, зная, дороге / Умереть Господь судил»), напечатанном в 1832 г., но написанном еще 4 октября 1829 г.

Еще более резко эта же тема зазвучала в стихах «Пора, мой друг, пора! // Покоя сердце просит...», созданных поэтом в середине 1834 г. Известный «пушкинист» Л. М. Аринштейн даже считал, что после этого стихотворения «Пушкин настолько сосредоточился на мыслях о неотвратимой, близкой и *желанной* [выделено мной. — *д. Г. М.*] смерти, что складывается впечатление, что ни о чем другом писать он в это время не может»**:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз — умрем...
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

* Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 17 т. М., 1949. Т. 11. С. 32.

** Аринштейн Л. М. Преображение Дон-Жуана. М., 2000. С. 152.

Это — всего лишь. как говорится, «необработанный отрывок», и непосредственно в авторской рукописи представлен даже некий план продолжения стихотворения; и в плане этом — самой смерти предшествует (что весьма показательно) «религия»: «Юность не имеет нужды в at home [в своем доме (англ.). — д. Г. М.], — писал здесь Пушкин, — зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой*. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Стихи «Пора, м ой друг, пора!» были написаны Пушкиным (предположительно) в июне 1834 г.; поэт тогда как раз пытался выйти в отставку, стремясь затем поселиться в деревне. Но, как известно, жена его, отнюдь не желавшая расставаться с петербургскими балами, «устроила» ему «сцену» — и Пушкин «сдался»...

Впрочем, и «религия», и «смерть» — были ему обеспечены. Пушкинские же стихи, как и стихи вообще, «подруга» его, увы, едва-едва переносила...

Именно в это же время — и также летом этого года Пушкин пытается написать еще одно стихотворение «на тему смерти» — о кладбище, но уже обходясь без поэтических фантазмов и романтического «украшательства» — без «трудов поэтических», без «семьи, любви etc.», а принимая смерть — как голый «кладбищенский факт».

Вот это «неоконченное и неотделанное» стихотворение:

Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская лежит,
По ней рабочая телега
[.....?] изредка стучит.

Одна равнина справа, слева.
Ни речки, ни холма, ни древа.
Кой-где чуть видятся кусты,
Немые камни и могилы,
И деревянные кресты —
Однообразны и унылы,...

Среди пушкинских «вариантов» и «авторских заготовок» тут неизменно присутствует «Святое смерти пепелище», впрочем, наряду с «унылостью», имеются здесь также и такие строки: «Таинственный, *приветливый* приют, / *Поклон тебе*, печальное кладбище...» [курсив мой. — *д. Г. М.*]. Такое вот, весьма двойственное восприятие поэтом «царства мертвых»... И что бы у него с этим стихом в конце концов получилось?

И всё-таки вряд ли Л. И. Аринштейн был прав, утверждая, что именно стихотворение «Пора, мой друг, пора!» несло в себе особый «заряд» смерти. Ведь помимо указанных здесь мной других стихотворений, в которых достаточно ярко проявился интерес Пушкина к теме смерти «вообще», можно (и следует упомянуть) еще одно его стихотворение, где поэтом рассматривается та же тема, но в весьма конкретном приложении — к самому себе! Я имею в виду стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных», напечатанное гораздо ранее стихов, упомянутых Л. Аринштейном, — 6 января 1830 г., а написанное даже чуть ранее — 26 декабря 1829 г.

Вот оно:

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды,
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую минуту
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Творческая судьба этих стихов не проста и, безусловно, автор тут в значительной мере боролся с самим собой, стремясь как раз сделать эти стихи менее связанными с его собственной личностью — дабы они зазвучали более философски—обобщенно..

Недаром в ранних редакциях стихотворение начиналось несколько иначе, а именно:

Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.

А после стиха «Мой примет охладелый прах?» поначалу шла еще одна строфа:

Вотще! Судьбы не переломит
Воображенья суета,
Но не вотще меня знакомит
С могилой ясная мечта.

И, по сути, именно эта — «не вотще» «познакомившая» поэтa «с могилой» — эта его «ясная мечта» о смерти и привела его в итоге к последней...

И именно этой «мечте» и было посвящено само стихотворение, но именно ее-то автор в итоге от досужего читателя и скрыл... Зачем ему знать о том, что эта «мысль» о смерти и эта «мечта» о ней — везде и всегда с поэтом?

Но обратимся к еще одному замечательному (и весьма горестному) стихотворению Пушкина... Я имею в виду «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», написанные им уже в октябре 1830 г. в Болдине (но так и не изданные при жизни автора).

Разве не скорбит в этих стихах поэт — и не о том же самом, пытаясь понять: зачем вся эта жизнь («жизни мышья

беготня...»)?) Есть ли в ней какой-то смысл — когда всюду лишь «мрак и сон докучный»?

И разве не в таких вот размышлениях о жизни и становилась для Пушкина всё более реальной мысль о смерти, постепенно превращаясь даже во всё более «ясную мечту» о ней? —

**Стихи,
сочиненные ночью
во время бессонницы**

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

И потому нас уже не удивляет печаль (даже своего рода «метафизическая тоска»), звучащая в таких пушкинских стихах, как, например, «*Ода LVI (из Анакреона) [Анакреонта]*», созданных поэтом в самом начале (в январе) 1835 г.:

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей.

Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней:
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.
Не воскреснем из-под спуда,
Всяк навеки там забыт:
Вход туда для всех открыт —
Нет исхода уж оттуда.

Вообще же следует заметить, что Пушкин был не только провидцем-поэтом, но ведь и «просто человеком», а потому, случалось, что и достаточно непоследовательным в «реальной жизни»: и именно поэтому в его творчестве порой мы встречаем и мотивы, абсолютно расходящиеся с основным направлением его поэзии последних лет жизни. Так и тут — в противность восприятию смерти как благого посмертного бытия — он замечает: «Тартар тени ждет моей» и «Нет исхода уж оттуда»... Впрочем, чисто «по-человечески» тут его понять вполне даже можно, и подобные строки говорят нам лишь о том, что Пушкин — как тот самый «просто человек» — был вполне смиренным христианином, столь же полно осознававшим и свою природную греховность...

Но, увы, действительность пушкинской жизни была такова, что творчество его окрашивалось всё более и более «смертными» мотивами.

Так, в частности, и неоконченная Пушкиным «Повесть из римской жизни», начатая в ту же пору, посвящена, например, суицидальной смерти..

Достаточно грустны и стихи «Полководец» (также 1835 г.), заканчивающиеся такими строками:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Вероятно, в том же 1835 году было создано и стихотворение «Чудный сон мне Бог послал...», опубликованное уже гораздо позже — в 1881 году — и внутренне связанное с пушкинскими стихами на тему поэмы английского поэта Соути «Родрик, последний из готов» (1814). Однако «Чудный сон» так и не вошел в беловой вариант «Родрика» Пушкина, став со временем, по сути, отдельным стихотворением...

Чудный сон мне Бог послал:
С длинной белой бородою
В белой ризе предо мною
Старец некий предстоял
И меня благословлял.
Он сказал мне: «Будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь Царствия Небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец...

И тут же — продолжение: всё тот же «вечный сон»...

И заснешь ты вечным сном...

Сон отрадный, благовещный —
Сердце жадное не смеет
И поверить и не верить.
Ах, ужели в самом деле
Близок я к моей кончине?
И страшуся и надеюсь,
Казни вечная страшуся,

Милосердия надеюсь:
Успокой меня, Творец.
Но Твоя да будет воля,
*Не моя. — Кто там идет?**

К середине 1835 г. относится и вот такое стихотворение, при жизни поэта так же, как и предыдущее, не опубликованное.

Странник**

Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор — и спросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий
злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд
загробный
И вот о нем крушусь: к суду я не готов.
И смерть меня страшит».

* Стихотворение это очень ярко по чувству, но, думаю, что Пушкин, скорей всего, — имей он время, силы и, главное, «покой», — еще поработал бы над его «формой», чуть-чуть «пошлифовал» бы... Хотя, Бог знает, — имей он тогда всё это, — появилось ли бы оно в таком случае вообще?

** Стихотворение (в краткой редакции) — было написано в июне или июле 1835 г., но затем значительно расширено (в период августа — декабря 1836 г.). Здесь — текст еще 1835 г.
Будучи своего рода переложением начальных глав текста английского пастора Джона Беньяна (1628—1688) «Путешествие пилигрима в Небесную страну», пушкинские стихи, тем не менее, представляют собой абсолютно оригинальный текст, предельно ясно показывающий (особенно в расширенном варианте) — как прискорбную жизнь поэта последних его лет, так и разъясняющий нам духовную суть смерти Пушкина.

Государь сделал его историографом Империи и в особенности камер-юнкером. Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру [Пушкина] скрежетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье жены: *наконец-то вы, как все! У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как Государь к вам благоволит!*»

Незадолго перед смертью, — продолжает Д. Мережковский, — он [Пушкин] говорил с Смирновой, собиравшейся за границу: «увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как вчера он советовал мне переговорить с Государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но все семейство [жены] поднимает гвалт. Я смотрю на Неву, и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход...

Если бы я это сделал, чего бы сказали? Сказали бы: он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется, — уехать очень, очень далеко, — чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. *Впрочем, у меня есть предчувствие, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней*» [курсив мой. — д. Г. М.]»*.

Пушкин — явно *устал жить*... Во всяком случае — *так*.

А ведь еще года два назад он был полон творческих замыслов, собирався плотней заняться прозой, и, как поздней В. Даль рассказывал П. Бартеневу, этот пушкинский приятель помнил, как в 1833 году, находясь под Оренбургом и «едучи в Берды, Пушкин говорил ему, что у него на уме большой роман... "Погодите, прибавил он, я еще много сделаю; я теперь перебесился"...»**

* Мережковский Д. С. Полное собрание сочинений. Т. XVIII. М., 0., 1914, «Пушкин», гл. III.

** Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах. Издание М. и С. Сабашниковых. 1925 г. С. 21—22.

И, действительно, кто же будет спорить, что пушкинская проза прекрасна (и тут можно вспомнить хотя бы о «Капитанской дочке», написанной им, по сути, незадолго до смерти), и, однако, Пушкин, сознавая себя прежде всего поэтом и чувствуя, как с усилением его физических немощей, постепенно всё же слабеет в нем именно поэтическое творческое вдохновение, недаром жаловался А. А. Фукс: «О, эта проза и стихи. Как жалки те поэты, которые начинают писать прозой; признаюсь, ежели бы я не был вынужден обязательствами, я бы для прозы не обмакнул пера в чернила...»*

Но, увы, жизнь, житейские обстоятельства, семья — ставили перед поэтом свои требования, и ему теперь приходилось заниматься «прозой»: дитературная (журнальная и газетная) критика, редакционная работа, исторические, архивные исследования, и Пушкин — надорвался...

Финансовое положение семьи — незавидное, долги растут...

Пушкин даже решает (ради сокращения расходов) вообще покинуть Петербург и пожить несколько лет в Михайловском — и вот в начале лета 1835 года он обращается к А. Бенкендорфу:

«Ныне я поставлен в необходимость покончить с расходами, которые вовлекают меня в долги и готовят мне в будущем только беспокойство и хлопоты, а может быть — нищету в отчаяние. Три или четыре года уединенной жизни в деревне снова дадут мне возможность по возвращении в Петербург возобновить занятия, которыми я еще обязан милостям Его Величества.

Я был осыпан благодеяниями Государя, я был бы в отчаянье, если бы Его Величество заподозрил в моем желании удалиться из Петербурга какое-либо другое побуждение, кроме совершенной необходимости. Малейшего признака неудовольствия или подозрения было бы достаточно, чтобы удержать меня в теперешнем моем положении, ибо в конце концов я предпочитаю

* Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. С. 251.

быть стесненным в моих делах, чем потерять во мнении Того, Кто был моим благодетелем, не как Монарх, не по долгу и справедливости, но по свободному чувству благожелательности возвышенной и великодушной»*.

Просьба Пушкина могла быть удовлетворена лишь в случае подачи им прошения об отставке, на что он («по семейным обстоятельствам») решиться так и не смог, но зато поэт всё же ухитрился получить — по распоряжению Царя — отпуск на 4 месяца и ссуду в 30 тыс. рублей.

В начале сентября 1835 года Пушкин уезжает в Михайловское в надежде на осеннее творческое вдохновение... Но — увы... Оно не приходит.

Об этом свидетельствуют его письма жене...

Так, уже через неделю после приезда в Михайловское он сообщает ей: «Писать не начинал и не знаю, когда начну»; через две: «Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет... о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполовину промотал; ваше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит Бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, Бог знает. Покамест грустно. Поцелуй-ка меня, авось горе пройдет».

И снова письмо — уже от 25 сентября: «Вообрази, что до сих пор не написал я ни строчки; а все потому, что не спокоен...»

И лишь на следующий день наконец появляются (но, по сути, единственные тогда) строки: стихотворение «... Вновь я посетил», в конце текста которого поставлена дата: «26 сентября >1835».

* Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: «Наука. Ленингр. отд-ние», 1977–1979. Т. 10. Письма. — 1979. № 650. А. Х. Бенкендорфу (1 июня 1835 г.; В Петербурге).

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах...

И далее, и далее... По сути же — прощание поэта с милым его сердцу местом.

...И снова, снова летят тревожные письма в северную столицу.

29 сентября Пушкин пишет жене: «...мне не до шуток. Государь обещал мне *Газету*, а там запретил; заставляет меня жить в Петербурге, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое... Что из этого будет? Господь ведает...»

А 20 октября Пушкин выезжает из Михайловского в Петербург, так и не приступив, по сути, к серьезному (мощному и длительному — как он надеялся) творчеству... И вместо 4-х месяцев он пробыл в деревенском отпуску всего лишь полтора...

Итогом же всех его мытарств того времени стало написанное вскоре (в ноябре 1935 года) стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума...»

Страшные стихи... Особенно — когда знаешь, что автор их уже собирается в последний путь — ко Христу...

Вот они.

* * *

...Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

И всё-таки, и всё-таки...

Именно перед лицом встававших тогда перед Пушкиным житейских трудностей он и находил в себе внутренние силы продолжать свой путь к Богу. Это, естественно, отражалось и на характере его творчества, что зачастую поражало даже его друзей, не всегда, впрочем, и знавших — чем мучим и о чем пишет сейчас поэт.

А мучился он тогда многим... Вот, например, что писал о Пушкине того времени всё тот же Д. Мережковский: «Незадолго до смерти Пушкин увидел в одной из зал Эрмитажа двух часовых, приставленных к «Распятию» Брюллова. «Не могу вам выразить, — сказал Пушкин [А. О.] Смирновой [-Россет], — какое впечатление произвел на меня этот часовой; я подумал о римских солдатах, которые охраняли гроб и препятствовали верным ученикам приближаться к нему».

Он был взволнован и по своей привычке начал ходить по комнате.

Когда он уехал, Жуковский [также присутствовавший при той встрече] сказал: как Пушкин созрел и как развилось его религиозное чувство! Он несравненно более верующий, чем я...»

По поводу этих часовых, которые не давали ему покоя, поэт написал одно из лучших своих стихотворений*.

Пожалуй, стоит привести здесь и само это пушкинское, написанное им 5 июня 1836 г. и посвященное как раз тому — безусловно оскорбленному — подлинно религиозному чувству поэта, возмущенного таким проявлением якобы «церковного официоза».

* Мережковский Д. С. Полное собрание соч..Т. XVIII. М., 1914. «Пушкин», II. С. 127.

Мірская власть

Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам Животворяща Древа,
Мария-грешница и Пресвятая Дева,
Стояли, [бледные,] две [слабые] жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь Креста Честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место Жен Святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или Распятие — казенная поклажа
И вы боитесь воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю Царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда *простой народ*?

И недаром по поводу этих стихов Мережковский в итоге замечает: «Символ божественной любви, превращенный в казенную поклажу, часовые, приставленные Бенкендорфом к Распятию, конечно, это — с точки зрения эстетического и религиозного чувства — великое уродство»*.

...Как мы видим, некоторые из написанных в последние годы жизни Пушкина стихов так и не были изданы при его жизни: часть из них явно не пропустила бы тогдашняя цензура, часть он попросту издать не успел... Однако именно их публикацией

* Там же.

и собирался заняться Пушкин, — когда столь прискорбно осуществилась наконец его «ясная мечта»...

Есть предположение, что он, в частности, собирался издать в редактируемом им журнале «Современник» ряд стихов, получивших среди «пушкинистов» условное название «Каменно-островского цикла» (поскольку основная часть стихотворений была создана летом 1836 г. — во время пребывания Пушкина на даче на Каменном острове).

В этот цикл предположительно должны были войти: «Отцы пустынноики и жёны непорочны...» (на тему Великопостной молитвы преп. Ефрема Сирина), небольшой набросок «Напрасно я бегу к сионским высотам...», возможно, в дальнейшем ставший бы полноценным стихотворением, «Подражание итальянскому» — об Иуде («Как с древа сорвался предатель ученик...»), «Мирская власть», «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (причем вновь на сугубо «кладбищенскую тему»). Все эти стихи преисполнены подлинно христианского духа и бо́льшая часть их в известной мере связана с тематикой Великого поста.

Среди пушкинских «каменноостровских» стихов, мне, например, представляются наиболее выразительными «Отцы пустынноики...», и именно это стихотворение я и приведу здесь — в качестве образцового — для поэта, пусть уже и к самому концу жизни, но явно начавшего понимать: *Кто такой — Христос? Почему — Он? И, возможно, самое главное для всех нас: зачем?*

* * *

Отцы пустынноики и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

...Тогда же Пушкиным предполагалось издать еще два стихотворения («Из Пиндемонти» и известное «Я памятник воздвиг себе нерукотворный...»). Оба они, впрочем, в гораздо меньшей степени несут на себе отчетливо выраженные христианские черты, хотя в «Памятнике» — в заключительной строфе, и звучит вполне христианский призыв: «Велению Божию, о муза, будь послушна...», к чему, собственно, и призывает само это стихотворение. Но как раз на это явно старались не обращать внимание записные «красные» «пушкинисты»-атеисты, и уж тем более этому не учили детей в советских школах (как, впрочем, кажется, предпочитают не учить у нас «такому Пушкину» и в школах нынешних)...

...Пушкин «умирал» — судя и по действиям его, и по словам (прежде всего, по его стихам) — не менее двух лет...

Об этом говорят и сами обстоятельства пушкинской жизни, отдельные сложные моменты его психики (*душевного* его бытия), и достаточно нелепые частности семейной его ситуации, и всё более проявлявшиеся проблемы со здоровьем, и сама судьба его отношений с обществом в целом и с государственной властью (например, с Государем и Бенкендорфом) — в частности...

Но всё это в итоге он победил — смертью!

«Кончена жизнь... Жизнь — кончена...» Что ж, действительно, *земная* жизнь поэта завершилась. «Эта» жизнь...

И наступила — «*Та*», «*Иная*».

Но именно в ней — через смерть! — Пушкин и обрел наконец долгожданный покой, примирившись внутренне, похристиански, со всеми («желаю умереть христианином»), расставшись «*в мире*» своей души — и с врагами, и с друзьями.

В той, уходящей тогда от него мной жизни — всего за три предсмертных дня — он сумел «*прожить*» и, по сути, «*изжить*» самого себя «*прежнего*»: и злобу дуэли, и мгновенья душевной слабости (из-за жестоких страданий от раны — мечта даже о самоубийстве), но — *победил себя христианством*, обретая наконец Христа!

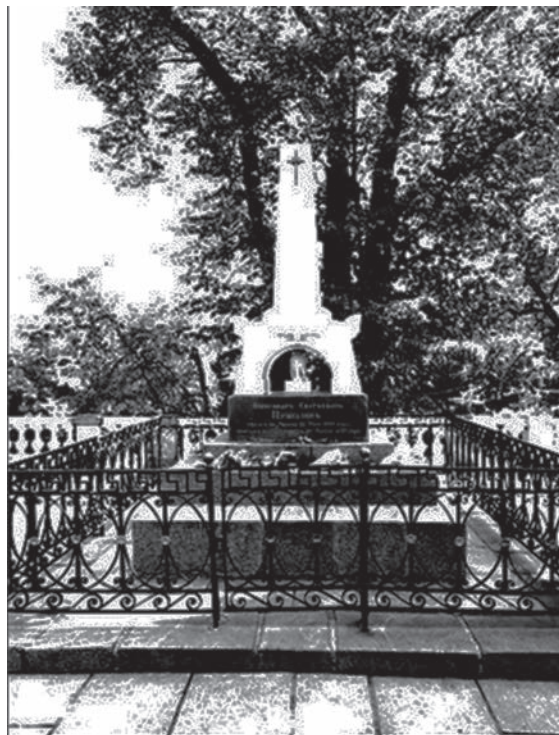
Не на это ли и указывал П. Вяземский, говоря о вдруг увиденном им тогда совсем «ином» — «другом» Пушкине? — «Смерть обнаружила в характере Пушкина всё, что было в нем доброго и прекрасного. Она надлежащим образом осветила всю его жизнь. Всё, что было в ней беспорядочного, бурного, болезненного, особенно в первые годы его молодости, были данью человеческой слабости, обстоятельствам, людям, обществу. Пушкин был не понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти, я не считал его до такой степени способным ко всему.

Сколько было в этой исстрадавшейся душе великодушия, силы, глубокого, скрытого самоотвержения! Никакого горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу.

Вся желчь, что находилась в нем целыми месяцами мучений, казалось, исходила из него вместе с его кровью, он стал другим человеком...»*

О том же самом упоминает и ближайший друг его — В. Жуковский: говоря о Пушкине так: «...особенно замечательно то, что в эти последние часы жизни он как будто сделался иной;

* Последний год жизни Пушкина... С. 528—529.



*Святогорский монастырь. Могила А. С. Пушкина.
Обелиск 1840 г.
(мастерская А. Пермагорова в Петербурге),
установлен в 1841 году.*

буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил»*.

И, наконец, тот же Жуковский, как бы подтверждая и себе, и всем нам — победу поэта-христианина! — и над общим трагизмом человеческого бытия, и над порой странными нелепостями пушкинской жизни, пишет: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась; руки, в которых было за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойно протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда.

Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею.

Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! Это было — не сон и не покой! Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовлетворенное знание торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти.

Таков был конец нашего Пушкина...»**

И, пожалуй, тут можно добавить только одно: таково было и его же, Пушкина, — «новое начало».

* Там же. С. 541.

** Там же. С. 549.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. К «раздумьям и переживаниям...»

Кстати... Из любопытства обратился я как-то раз к Интернету — к материалам («по Пушкину») для современной российской школы.

Решил посмотреть — как «ныне трактуют» в современной местной (то бишь — «ЭРЭФовской») педагогике, например, известного «Пророка» Пушкина...

Сунулся в Интернет.

Сначала попало мне («первым номером») — на «Яндексе» — с соответствующей рекламой («**ЛИТРЕКОН**»: «Всё для подготовки к экзаменам. Интересно для гуманитариев, полезно для технарей»). Вот так...

Затем пошел раздел «**ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ**»: «Считается, что стихотворение «Пророк» было написано Пушкиным в 1826 году в Михайловском имении.

Возможно, толчком для его создания стали раздумья и переживания (так и написано: «раздумья и переживания») после казни пяти декабристов и ссылки в Сибирь некоторых близких друзей-лицеистов. В это время Пушкин погрузился

[?] в религию. Он читал Библию, которую прислал ему брат, до этого он изучил главную мусульманскую книгу, переведенную на русский язык, и написал цикл стихотворений «Подражание Корану»

Здесь, конечно, особенно «замечательно» — почти всё: и то, что, мол, «толчком для его создания стали *раздумья и переживания* [выделено мной. — *д. Г. М.*] после казни пяти декабристов и ссылки в Сибирь некоторых близких друзей-лицеистов» (повторение давней, притянутой за уши, коммуно-советской лжи) и то, что Пушкин «погрузился в религию»... [этак вдруг взялся — да и «погрузился». — *д. Г. М.*]. Ну и. естественно, то, что «до этого он изучил главную мусульманскую книгу»... — *д. Г. М.*].

Разумеется, о том, что Пушкин как раз в это время напротив — всячески открещиваясь (помните его письма 1826 года?) — от идей «декабризма» — об этом вы тут не услышите ни слова...

Далее: «В основе сюжета «Пророка» лежит библейская легенда об Исайе. Исайя осознал, что народ грешен и не хочет исправляться, и впал в отчаяние. Тогда он сказал: *Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами...*

И один из серафимов услышал его слова. Он прилетел к Исайе с горящим углем, которым коснулся губ будущего пророка. После этого герой очистился от грехов и услышал послание свыше:

Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, потому что огрубело сердце народа всего. [здесь, разумеется, должно стоять не «всего», а «сего». — *д. Г. М.*; см.: Ис. 6, 10]...

Далее — уж и вовсе весьма странное..: По мнению автора интернетовского текста, оказывается, что, «...Для преобразования (?) в пророка нужно отказаться от человеческих чувств (?), например, от страха (?), от любви (?), от жалости (?). [всё

вопросительные знаки — мои. — д. Г. М.]. После этого герой остался лежать в пустыне без сил, «как труп», но потом он услышал Господа, который призывал исполнить его волю: «Глаголом жги сердца людей».

Так Пушкин определяет предназначение поэта. Таким образом, он, сохраняя сюжет библейской легенды, переносит ее в свою современность: в качестве пророка у него выступает поэт, который должен духовно просвещать и направлять народ, нести ему правду»...

И в чем же, инересно, заключается, по мнению автора сей «аналитической» прокламации, эта «права»?

А вот в чем: «Возможно, автор видел своих друзей-декабристов такими пророками (? — д. Г. М.): они не побоялись императорского суда и вышли против государя, призывая его изменить Россию, хотя знали, что их арестуют и казнят»...

Затем, кроме всей этой бредятины — лживой по сути (ибо именно так требовала в свое время у нас «единая, руководящая и направляющая» говорить о Пушкине) и весьма убогой по форме (причем, всё тут во многом продолжается, так сказать, по «исторической инерции»), бедным нашим школьникам дается кое-что и из «культурки» вообще, а именно определение «романтического персонажа» — оказывается в «романтизме» «лирический герой» должен иметь следующие, прямо-таки обязательные для него «черты романтического персонажа»: «он в одиночестве блуждает по пустыне, ища ответы на свои вопросы и убегая от общества». [Ох! — д. Г. М.].

В заключение же заяляется следующее: «Назначение поэзии — это говорить людям правду... в то время как остальные трусливо молчат»...

А также вот и такое — причем, в полном противоречии со сказанным ранее пониманием самой личности «пророка» — что Пушкин, мол, (далее следует вполне «дежурная» фраза) «проповедовал людям высокие христианские добродетели: доброту, любовь к ближнему, стремление к справедливости, отзывчивость, гуманизм» [и т. д. и т. п.]

Но как мог он «проповедовать... любовь к ближнему», если «пророк» обязательно должен «отказаться от человеческих чувств» и, в частности, «от любви» и «от жалости»? [См. выше. — *д. Г. М.*]. И как тогда в этом стихотворении «тема любви к ближнему» вообще может «иметь место быть» (как утверждается в этом тексте)?

Завершается же текст сожалением о том, что «... поэт, который должен «жечь глаголом сердца людей», будет встречать в народе непонимание и равнодушие, как было с Исайей, прославлявшим Господа среди иудеев, поклонявшихся идолам».

И — как завершение этого раздела «Анализа»: «Такова главная мысль произведения».

Что ж, только руками и разведешь — бедные наши школьники... И подобная чепуха — отнюдь не единственная в интернетовской «пушкиниане»!

То же самое мы находим и в еще одном документике такого же рода (вообще все они — на одно лицо!). Вот он — «Анализ стихотворения «Пророк» Пушкина» (для 9 класса), откуда я, жалея читателя, приведу всего лишь несколько небольших фрагментов.

«Духовная ода "Пророк" — хрестоматийное стихотворение, которое демонстрирует филигранный стиль Александра Пушкина, его умение вкладывать идею в метафоричные выразительные образы...

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Н. В. К. (опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет)».

Сей «Анализ» уже забавен тем, что предваряется он таким вот «серьезным» советом: «Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением "Пророк"...» [Неужели? — *д. Г. М.*].

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ: произведение было создано в 1826 г., в имении Михайловское после того, как поэт узнал о казни своих друзей-декабристов». [Опять эти, притянутые и тут за уши, «декабристы»! — *д. Г. М.*].

ТЕМА СТИХОТВОРЕНИЯ: роль и предназначение поэта.

История создания произведения связана с печальным событием — казнью друзей Пушкина, которые были участниками декабристского движения. Под впечатлением горькой потери [!]* в 1826 г. был написан "Пророк". Видимо, те, кому посвящено произведение, ассоциировались у автора с пророками».

Замечу, что это нелепое «предположение» — тоже застарелый продукт «советского» пушкиноведения, встречаясь довольно часто в подобных — за пределами ложных и, к тому же, весьма примитивных «анализах».

Впрочем, увы, и далее, и далее — хорошо виден довольно таки диковатый и, попросту говоря, малокультурный их уровень...

И вот о подобных текстах говорится: «Интересно для гуманитариев, полезно для технарей?»**

Довольно жалкое зрелище...

И единственное, что хочется сказать посек прочтения такого вот «анализа»: «Бедный, бедный *наш* Пушкин!», «Бедное, бедное — *наше* всё!»

* Как видим, бред этот — с «декабристами», с их нелепой «героизацией» — вполне «по-большевицки», «по-советски» всё продолжается! Для меня же они всегда оставались всего лишь падшими людьми, заблудшими в дебрях западного Просвещения и псевдоромантического масонства — бесчестными нарушителями воинской присяги, а потому и позором российского офицерства, — несчастными, о которых можно только молиться, чтобы им были прощены их преступления пред Богом и Россией.

** Вообще на тему этого «Пророка» имеется большое число самых различных работ в отечественной «пушкиниане», но в основном — в духе «Благого-Цявловского», т.е. с давней, заведомо «казачьей» советской «идеологией»... Решительным ответом на это стала, например, статья В. Есипова «К убийце гнусному явись...» («Вестник РАН», т. 68, 1998, № 9); см. также: (<http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp5/mp5-112.htm>). И совершенно прав был он, заявив в той же статье: «Пушкинское наследие необходимо очищать от тех искажений и деформаций, которые были допущены за минувшие десятилетия».

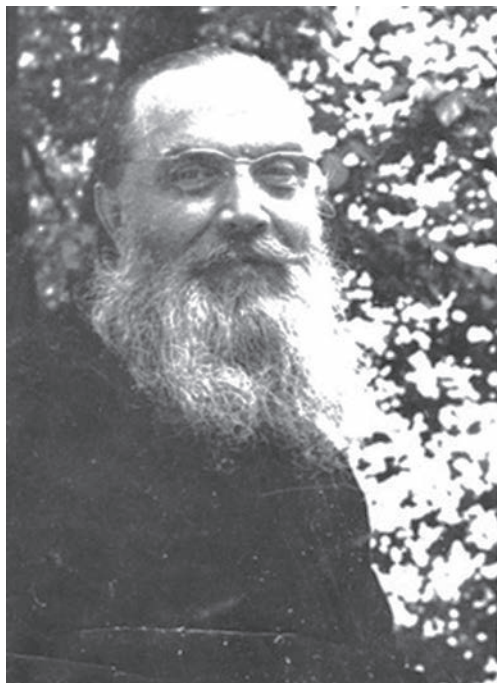
2. Что сказал мне как-то раз мой знакомый о. архимандрит — о пушкинском «Пророке»

Был у меня давным-давно духовный наставник и даже — до известной степени — старший (старше меня на четверть века) если и не приятель, то уж точно добрый знакомец, настоятель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, о. архимандрит Алипий (Воронов)*...

Несмотря на достаточно строгое и серьезное отношение к своему монашеству, отец Алипий отнюдь не Был чужд и интереса к самым разным формам культуры: случалось, мы с ним и о живописи могли поговорить — тем более, что до принятия им монашеского пострига он сам был художником, а к концу жизни стал (так, между прочим, замечу) заядлым коллекционером художественных полотен — и холсты эти о. Алипий в итоге завещал российским музеям**.

* См. о нем: Пономарёв А. Ю. Алипий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2001. Т. II. С. 21–22; Архимандрит Алипий. Человек. Художник. Воин. Игумен [авт.-сост. Савва Ямщиков при участии Владимира Студеникина]. Москва, 2004. 486 с.; Малков Ю. Г. (диакон Георгий). Из воспоминаний о Псковских Печерах: 1. Архимандрит Алипий (Воронов). 2. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) // Альфа и Омега. М., 2007. № 1 (48). С. 244–255; Тихон (Секретарев), архимандрит. Высокопреподобие отца Алипия. Печоры: изд-во «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь», 2009. 543 с.

** См., например: Собрание Ивана Михайловича Воронова [каталог выставки в Гос. Русском музее]. Л., 1975.



*Архимандрит Алипий (Воронов) (1914–1975)
Фото сделано автором этой книги
в начале июля 1974 г.*

Архимандрит Алипий (Воронов) (— 1975).

Познакомившись с о. Алипием в 1963 году, я затем часто бывал в обители, и, живя тогда порой недалеко от монастыря — в деревне Тайлово, «трудничал» в обители (красил крыши, чистил колокола, работал в «просфорной»), но относительным доверием его я стал пользоваться лишь с начала 1970 года, когда оказался в Печорах уже в качестве корреспондента «Журнала Московской Патриархии».

Когда я приезжал в монастырь, то с дороги обычно — прямо к нему...

Распорядившись о завтраке, он любил затем, не торопясь, попотчевать гостя — и тут начинался разговор — «за жизнь».

При этом темы бесед могли быть самыми разными: и о жизни монастыря, и о положении Церкви в большевицком СССР, и о личном жизненном пути самого батюшки, и об искусстве, и о православной культуре, и о поэзии.

После завтрака он порой удалялся к себе в кабинет, писал там какие-то свои бумаги, письма, а я поигрывал в первом зале на фисгармонии — отцу Алипию нравился Бортнянский, Сarti, киево-печерские распевы.

Сам он был весьма музыкален, неплохо пел и как-то раз даже музицировал дуэтом в своих покоях — пел вместе с Иваном Семеновичем Козловским.

Хорошо помню тот замечательный вечер. Я сопровождал в Псков о. архимандрита Иоанна (Крестьянкина), срочно улетавшего с псковского аэродрома служить в Великие Луки; и после чуть ли не трех часов, проведенных в общении с мудрым и добрейшим старцем, пребывал в весьма благодушном настроении.

И вот, возвращаясь, влетаю я в обитель — и слышу, как из сияющих распвхнутых окон второго этажа настоятельского дома льются чудесные звуки: поют старики — но явно еще крепкие и в пении опытные.

Монастырь затих — будто тоже слушает...

А потом мы с моим тогдашним приятелем, архимандритом Агафангелом (Догадиным), уже в первом часу ночи провожаем гостей из монастыря, и замечательный певец, «маэстро Козловский», всё никак не может придти в себя от столь доброго приема, от любвеобильного и остроумного о. Алипия, от огромного бездонного неба — с сияющими на нем чистейшими пещерскими звездами.

Застыл певец у входа в настоятельский дом — задумчиво на небо смотрит, явно — блаженствует...

А уже рано утром я сижу у отца Алипия за завтраком; о том, о сем говорим, вспоминаем — и вдруг невзначай беседа наша касается темы поэзии.

Как оказалось, батюшка ставил выше всего в литературном творчестве псалмы Давида, но любил он и светскую поэзию: насколько помню, ему нравились Кольцов, особенно — Тютчев, местами — Есенин.

Но самым высоким духовным достижением в светской поэзии он считал — конечно же! — пушкинского «Пророка». Для о. Алипия ничего лучше этих стихов — «в міру» написано не было! И он, будучи вообще-то человеком достаточно сдержанным, тут никак удержаться явно не мог...

«Как труп, в пустыне я лежал» — это ведь и про нас, про нас!» — восклицал он.

«Трупьё, трупьё мы все — грех на грехе сидит и грехом погоняет...»

«И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый» — это нам, нам надо вырывать грешные наши языки!»

«А в конце-то, в конце — смотри: «глаголом жги сердца людей!»...

«Жги!

Вот, вот — жги! Так ведь никто тогда не говорил — и никогда, никогда больше не скажет...

Нет теперь — ни Исай, ни Пушкиных...

Но всё равно... Глаголом — жги!

Эх, ведь это-то нам и нужно делать, это-то и нужно...»

И чуть погода — успокоившись, задумчиво: «И что это я так вдруг разошелся? И что это я так?»»

Я предпочел дипломатично промолчать.

Да и что тут скажешь? Всё, всё — верно...

Ну, а сам-то он — случилось и такое — вполне даже мог и «жечь»! Или — «зажечь»?

Во время церковных проповедей...

Они были достаточно простыми, всегда звучали замечательно искренне, и хорошо помню, что некоторые, слушая его, плакали. Да и сам он порой мог вполне всплакнуть в такие моменты.

Уж очень он Бога любил...

3. Читайте, друзья, читайте Пушкина!

Пушкинист В. Непомнящий в своей — во многих отношениях замечательной — книге «Да ведают потомки православных» написал: «Вскоре после приезда [Пушкина] в Михайловское... возникает новый образ:

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны Тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой..

Авторское примечание: «Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!» — сегодня можно прочесть решительнее: плохая физика, но зато — какая верная метафизика...»*

Что ж — и Пушкин, и Непомнящий — тут совершенно правы... Но, продолжив Непомнящего, можно сказать и так — уже в отношении самого поэта, вполне состоявшегося как христианин (пусть и окончательно — лишь на смертном одре): «Пушкин! Он сам — какая верная метафизика...»

Но разве не ее — как, прежде всего, Божию, Творческую «метафизику» — и жаждал найти Пушкин на всем своем жизненном пути?

Об этом свидетельствуют и многие его стихи (особенно последних лет жизни), и воспоминания друзей и знакомых.

* *Непомнящий В. С.* Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы. М., 2001. С. 126.

Помните: что писал о нем его приятель П. Вяземский? «Никакого горького слова, ни одной резкой жалобы, никакого едкого напоминания о случившемся не произнес он, ничего, кроме слов мира и прощения своему врагу... он стал другим человеком...»*.

И разве не о том же замечательном изменении внутреннего состояния Пушкина говорит и В. Жуковский: «В эти последние часы жизни он как будто сделался иной; буря, которая за несколько часов волновала его душу яростною страстию, исчезла, не оставив на нем никакого следа; ни слова, ниже воспоминания о поединке. Однажды только, когда Данзас упомянул о Геккерне, он сказал: «Не мстить за меня! Я все простил»**.

И по пути такого преобразования личности поэт шел, по сути, в течение всей сознательной поры своей жизни, особенно скорбь о многих нелепых и явно греховных ее сторонах — тем более сожалел о том в период подлинного «возмужания во Христе», в течение последнего десятилетия земного своего бытия.

И в этом смысле весьма показательно его известное стихотворение 1828 года, явственно говорящее нам о том, что поэт наконец вступил на свой нелегкий путь ко Христу...

И размышлениями над этим стихотворением я, пожалуй, и закончу свой очерк о Пушкине.

Вот эти стихи...

Воспоминание***

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,

* Последний год жизни Пушкина... С. 528—529.

** Там же. С. 541.

*** Стихотворение написано 19 мая 1828 г. Публикация: «Северные цветы», 1829.

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живею горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

И тут я хочу обратить особое внимание читателей на то, что в черновой рукописи имеются дополнительные материалы к этому стихотворению (еще 20 строк — в то время как напечатаны лишь 16 совсем других). Эти 20 строк самим Пушкиным никогда не публиковались, и мы так и не знаем — почему (и можем об этом лишь только догадываться)... Но сам факт их существования о многом нам говорит — и об опубликованной части стихотворения, и о духовном состоянии автора в ту пору. Последнее же особенно важно, поскольку в данном случае затрагивается тема христианского становления поэта, о чем в свое время выступал В. Непомнящий (и о чем речь — пусть и кратко, но еще пойдет впереди).

По счастью всё-таки дошедшие до нас в рукописном виде — пусть и не до конца обработанные Пушкиным, строки — весьма любопытны сами по себе (так что их стоит привести и здесь). Вот они:

...Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.

Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глупости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака молодые,
Две тени милые, — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые;
Но оба с крыльями и с пламенным мечом.
И стерегут... и мстят мне оба.
И оба говорят мне мертвым языком*
О тайнах счастья и гроба**.

Возможно, публикация, по сути, лишь половины всего стихотворения явилась следствием того, что, во-первых, Пушкин счёл неопубликованную часть (как раз и послужившую, безусловно, первоначальным «источником» всего стихотворения в целом), — носящей слишком уж личностный характер («две тени милые...»), и, во-вторых, он имел полное право посчитать

* вполне вероятно, что Пушкин имел в виду сказать здесь чуть точнее: или «говорят мне мертвых языком», или же «говорят по-смертным языком», но, впрочем, не будем гадать...

** Публикация этих стихов в Интернете сопровождается следующей заметкой: «Эти двадцать стихов не были напечатаны Пушкиным и не окончательно им обработаны. «Две тени милые...» — с уверенностью можно назвать только одно имя, Амалии Ризнич. См. стихотворение «Под небом голубым страны своей родной»... (напечатано в «Северных цветах» на 1828 год). В рукописи имеется и дата написания этих стихов: «29 июля 1826»). Они были вызвано кончиной Амалии, умершей в 1825 г. во Флоренции, куда она отбыла из Одессы в мае 1824 г.

сказанное им в опубликованной части — вполне достаточным и в духовном смысле наиболее важным для его читателя

Не мог же Пушкин предположить, что непечатание им части стихотворения (20 строчек) позволит в дальнейшем тому же В. Непомнящему даже «обвинить» автора в сочинении последним чуть ли не некоего «антипсалма»!

Дело в том, что в ряде своих научных докладов В. Непомнящий пытался реконструировать — хотя бы в основных чертах — «духовный путь» Пушкина к Богу, определяя при этом ту или иную степень «христианизации» отдельных произведений (постепенное, но явственное нарастание в них такой тенденции), и, в частности, — дать при этом оценку и стихотворению «Воспоминание», с которой я, однако, согласиться никак не могу.

Для В. Непомнящего это стихотворение, т.е. изданные 16 строк, есть, как он писал и говорил в ряде своих выступлений*, «изложение одной строки Пятидесятого псалма: «Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну».

Автор, — продолжал ученый, — с отвращением взирает на свои грехи — подобно Давиду. Но вот последняя строка: «Но строк печальных не смываю». Обратите внимание: Давид, обращаясь к Богу, говорит: "Наипаче омой мя от беззакония моего". А Пушкин говорит: "строк печальных не смываю».

И далее В. Непомнящий утверждает, что Пушкин «сам берет на себя — смыть или не смыть. Получается, что стихотворение "Воспоминание" — это покаяние, искреннее, с полным сознанием своего греха, но — без молитвы, без обращения к Богу, покаяние в никуда, в пустоту. Выходит, что, с одной стороны, Пушкин написал нечто вроде Давидова покаянного псалма, а с другой — "антипсалом". Человек сознает свою

* В данном случае взят текст доклада В. Непомнящего на 7-й ежегодной богословской конференции в православном Свято-Тихоновском Богословском Институте (ныне — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) в 1997 году.

греховность, но помощи Божией не просит, от Бога отворачивается. Это — момент отчаяния, грань духовной катастрофы».

Увы, но именно тут-то согласиться с автором я никак и не смог..

Да, безусловно, стихотворение это преисполнено чувства раскаяния, но и само-то это чувство, само раскаяние — разве не рождено в поэте, прежде всего, чувством, или, лучше сказать, его «чувствованием Бога»? «Ощущением» — именно Его присутствия? И откуда берутся все эти «угрызенья» «змеи сердечной», то есть, попросту говоря, совести — как гласа Божия в человеческом сердце? И когда Пушкин пишет: «Я трепещу...», то — перед кем? Не перед Богом ли?

Не перед «пустотой» же...

И разве может христианин (в то, что Пушкин уже был в ту пору вполне сознательно и искренне верующим православным христианином — сомневаться явно не приходится), разве может он чувствовать раскаяние, — причем, как пишет сам же В. Непомнящий, «искреннее, с полным сознанием своего греха», — но обращенное, мол, не к Богу, а «в никуда, в пустоту»?

Разве может человек испытывать раскаяние — перед «пустотой»?

И вот, если мы именно так обратим более пристальное внимание на, казалось бы, «частности» рассматриваемого текста, то утверждение уважаемого пушкиниста о том; что поэт тут «от Бога отворачивается», определенно покажется явной натяжкой и в любом случае — попросту не соответствующей тогдашней «исторической действительности» в христианской России (еще 1828 года!)..

Да, можно сказать, что в стихотворении этом, безусловно, присутствует «момент отчаяния», но говорить о «границе духовной катастрофы» здесь все же явно излишне.

Да, Пушкин, «с отвращением» читая «свиток» всей своей жизни, — и «трепещет», и «проклинает», и «горько жалуется», и «горько слезы льет»... И лишь затем уж следует послед7 нее: «Но строк печальных не смываю».

О чем говорит здесь поэт — прежде всего, самому себе! — равно затем и своим читателям? Можно ли это завершение стихотворения считать неким «отворачиванием» поэта от Самого Бога?

Нет, конечно...

И, как мы можем видеть, самая ткань опубликованных стихов не дает нам никаких оснований утверждать что-либо подобное.

Просто Пушкин, скорбя о бессмысленности собственного бытия, скорбя — ночью, когда «ум» его подавлен тоской и когда «Воспоминание безмолвно предо мной / Свой длинный развивает свиток»; читаемый им «с отвращением», — тогда он и «тоскует», и даже «горько слезы льет», но при этом ведь и сознает всю *слабость* своей души*, привычность ее ко греху, к соблазну тех греховных дел, что собственно и вызывают в поэте чувство отвращения и даже проклятие их.

Но — слаб человек... Ах, как слаб! Слаб тут и Пушкин — пусть и кающийся, но продолжающий, как и все мы, — грешить...

Не это ли и высказано им в той последней строчке? Однако — не только!

Что же еще могло стоять за нею?

Безусловно — уже и начинаемая ощущаться Пушкиным христианская «ответственность»... И перед людьми, и перед Богом! Именно пред Творцом нашим, а отнюдь не перел некоей «пустотой»... И «не смывает» он ни «слез» своих, ни «строк печальных» — еще и потому, что «*хочет* помнить!» Но что же?

Не грехи ли?

Иначе говоря, именно стихи «Воспоминание» показывают нам, насколько «посерьезнел» Пушкин — как христианин:

* Как писал о себе же сам Пушкин в конце 1826 года (в письме В. П. Зубкову от 1 декабря 1826 г.): «...мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и вместе с тем слабый, — вот что внушает мне тягостное раздумие». И чуть далее сам признает свой характер даже «до такой степени несчастным!» (Вересаев В. В. Пушкин в воспоминаниях современников... М., 2017. С. 30).

не только осознание поэтом своей греховности, но и понимание им того, что пусть пока он, возможно, и не способен к подлинному «церковному» покаянию, а пока лишь к некоему раскаянию «вообще» (что — по учению Церкви — вовсе не одно и то же!); однако, уже тогда поэт не мог не понимать, что от христианина в любом случае неизменно требуется не только оплакивание своих грехов, но именно для этого — и «памятование» о них — а ведь это и есть как раз то, о чем поэт, в частности, и говорит: «Но строк печальных не смываю»...

Об этом (о необходимости помнить свои грехи) хорошо сказал еще преп. авва Исаия: «*Памятованием о своих грехах* [курсив мой. — *д.Г. М.*] христиане, как щитом, защищаются от гнева и лишения, и терпеливо переносят все, что бы с ними ни случилось», а Святитель Феофан Затворник прямо утверждает: «*Память грехов своих* [курсив мой. — *д.Г. М.*] — основа Покаяния, на ней зиждется христианская нравственность» («Письма о христианской жизни»).

Я и сам хорошо помню сказанное мне в Псково-Печерском монастыре во время исповеди — архимандритом Иоанном (Крестьянкиным): «В чем ты покаялся когда-то перед крещением — в том ты Богом прощен. И те грехи твои — не существуют. Тем более — в Очах Божиих. И сам ты теперь — совсем, совсем другой человек... Но, однако, совершенно дико и нелепо было бы и забывать о тех печальных днях и делах — пусть даже всё то и происходило еще до твоего крещения... Помнить об этом — всё равно нужно. И память тут — хранилище в нас совести (этого особого дара Божия человеку) — как раз и научает нас Правде Божией».

Так что, думаю, Пушкин в своем «Воспоминании» был, прежде всего, озабочен именно такого рода «памятью».

И вообще в некотором смысле об ином идет речь в 50 псалме, когда Царь Давид просит Бога «омыть» его грехи (как и его самого); однако требовать того же и от Пушкина (и, тем более, ставить ему в «вину» отсутствие этого) мы тут не в праве: у последнего, — следуя из контекста, — говорится всё же явно

о другом, ибо и духовная проблема у него тут — тоже несколько иная.

Впрочем, разве не о том же самом «памятовании» упоминает в своем Пятидесятом псалме и Царь Давид — в словах: «"Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну", т. е. — всегда»?

И еще замечу: никогда не публиковавшиеся автором строки были, однако же, почему-то им написаны... Так — почему же?

Особенно ясным становится ответ на этот вопрос, если мы все-таки учтем отброшенную автором часть стихотворения — с памятью Пушкина о двух женщинах-«ангелах», о которых он во всяком случае тоже *не хотел забывать*, а потому и не желал «смыть» «печальных строк» — и как в память о них, и в «укор» себе самому.

К тому же Пушкин упоминает тут и о такой — важнейшей для него — проблеме, как «счастье и смерть»* — когда: «Две тени милые, — два данные судьбой / Мне ангела во дни былые» говорят ему «О тайнах счастья и гроба».

Но знать об этом — ни В. Непомнящему, ни мне, ни вам, уважаемые читатели, ни кому-либо на этом свете — было вовсе не обязательно. Думается — именно поэтому Пушкин и убрал эту (очень и очень личную для него) часть стихотворения.

И во всяком случае ни о каком «отворачивании» от Бога, ни о «духовной катастрофе» Пушкина — говорить здесь, безусловно, не приходится. Как, соответственно, и о некоей, якобы присутствующей в этих стихах «неполноте» духовного смысла с «христианской», мол, позиции (или же всё-таки с позиции самого В. Непомнящего?).

* Недаром Пушкин даже как-то писал в письме. Плетневу (летом 1831 г): «Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти» (нашел в свое время у Д. Мережковского; ибо даже и поныне подобного рода высказывания (тем более — религиозного) нередко отсутствуют в текстах пушкинских писем, будучи в «советское» время попросту вымарываемы из них так называемыми «пушкинистами»...

Наконец, о явном христианском «росте» Пушкина к этому времени говорит и присутствующая в неопубликованной части «Воспоминания» оценка поэтом как прошлой своей жизни, так и жизни, наступившей для него после возвращения из ссылки.

Здесь Пушкин, главным образом, скорбит о своих «утраченных годах» — проведенных им в молодости «в праздности, в неистовых пирах»; и еще: разве мог он когда-то ранее сказать так о «свободе»? — «в безумстве гибельной свободы», когда он слышал (и, увы, слышит «вновь друзей предательский привет на играх Вакха и Киприды»). И вновь его сердцу окружающее «светское» общество («хладный свет») наносит «неотразимые обиды»; он слышит вокруг «жужжанье клеветы», «лукавую глупость» и «шепот зависти»...

«И нет отрады мне...»

И вот — когда подобные чувства переполняют его скорбящую душу — именно тогда пред поэтом и «встают два призрака молодые», «две тени милые» некогда любимых им женщин — в виде поэтических образов (столь характерных для того времени) двух ангелов (с крыльями и пламенными мечами).

Зачем являются они Пушкину? Не затем ли, чтобы попытаться сообщить ему нечто важное? Сказать ему о том самом главном, так мучившем его все последние годы жизни — о том, что (как надеемся и верим), узнал поэт, перейдя из земной жизни в Вечность,:- о тех самых «тайнах счастья и гроба» — но уже в «Мире Ином».

С таких вот «Воспоминаний» у Пушкина и начиналась его будущая «Новая Жизнь»...

КРАТКО ОБ АВТОРЕ

Юрий Григорьевич Малков — родился в Москве 26 июня 1941 г. Учился в Московском инженерно-строительном институте, затем — в МГУ, окончив там Исторический факультет; кандидат искусствоведения. В 1965 году принял св. крещение — с именем Георгий.

Работал в Центральном совете Общества по охране памятников истории и культуры и на кафедре искусствоведения МГУ, затем — более четверти века в Гос.НИИ реставрации при Министерстве культуры. Параллельно — с конца 1960-х и до середины 1980-х — сотрудничал в качестве автора и научного консультанта в «Журнале Московской Патриархии». В 2003 году принял сан диакона и с тех пор служит в одном из московских храмов, продолжая при этом и искусствоведческую, и литературную деятельность.

Еще в 60-х годах прошлого века начал писать стихи, уже в юности вступив в ряды московского андерграунда («Салон бабушки Фриде», «Лианозовский кружок»). Однако более последовательно стал заниматься поэзией лишь с середины 1970-х гг., издав к настоящему времени семь книг стихов. Кроме них, также напечатано еще порядка полутора десятка книг Георгия Малкова (часть из них написана в соавторстве с сыном Петром) — по истории отечественной Церкви и православной

агиографии, тексты двух церковных служб, вошедших в богослужебные Минеи Русской Православной Церкви. Опубликовано также и более полутора сотен статей историко-культурного (в том числе — непосредственно искусствоведческого), историко-церковного, а также и политологического характера. Среди них — статьи в научных сборниках российской Академии Наук, в журн.: «Музей», «ЖМП», «*Messenger de l'Exarchat du Patriarche Russe en Europe*», «Вопросы искусствознания», «*SLAVICA GANDENSIA*», «Мера», «Альфа и Омега», «Даниловский благовестник», «Трибуна русской мысли», «Наше наследие» и др..

АВТОРСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ

Юрия Гр. Малкова (диакона Георгия)

СТИХИ

КНИГИ:

1. Мера. Стихи 1960–1988. М.: «Белый берег», 2003. 224 стр.
2. В Страстную субботу (Стихи о России). М.: «Белый берег», 2006. 77 стр.
3. Ангел Хранитель. М.: «Белый берег», 2006. 183 стр.
4. Я русского жду человека. Стихи. Владивосток, 2017. 228 стр.
5. Лик. Избранные стихотворения и поэмы. М.: «Вест-Консалтинг», 2019. 403 стр.
6. Ангелокастро, или Песни любви. Избранные стихотворения и поэмы — из Греции. М.: «Вест-Консалтинг», 2020. 138 стр.
7. Иных Небес Звезда. М.: «Вест-Консалтинг», 2022. 137 стр.

ПРОЗА NON FICTION:

ИЗБРАННЫЕ КНИГИ

8. Русские иконы XII—XIX веков. [Альбом-каталог]. М.: Изд-во «Искусство», 1988.
9. Летопись Псково-Печерского монастыря, или исторические сказания о Свято-Успенской Псково-Печерской обители и ее святых... М.: Издание Донского монастыря, 1993.
10. Псково-Печерский монастырь. [Альбом]. Совместно с В. Курбатовым, С. Ямщиковым, М. Семеновым. Париж, 1995.
11. У пещер Богом зданных. В соавторстве с П. Ю. Малковым. М., изд-во «Правило веры», 1999.
12. Русь Святая. Очерк истории Православия в России. М., изд-во «Правило веры», 2002.
13. Контрреволюция духа. Церковно-политические очерки. М., изд-во «Белый берег», 2006.
14. «Истина всегда победоносна...» Епископ Феодор (Текучёв). В соавторстве с П. Ю. Малковым. М., изд-во Сретенского монастыря, 2009.
15. «Любовь покрывает всё...» Жизнь и поучения иеросхимонаха Михаила (Питкевича). В соавторстве с П. Ю. Малковым. М., изд-во Сретенского монастыря, 2010.
16. «Истина всегда проста...» Преподобный Симеон Псково-Печерский. В соавторстве с П. Ю. Малковым. М., изд-во Сретенского монастыря, 2014.
17. Политкнига: от России — к СССР — и обратно. Владивосток, 2018.
18. «Я — жив...» Архимандрит Афиноген, в схиме Агапий (Агапов). Печоры, 2022.

Содержание

ОТ АВТОРА 6

«ВЫСОКИЙ ЛИК...» (ПУШКИН И ДР.)

О «пушкинской» правде (*Вместо предисловия*) 12

1. А. Пушкин о «демократическом копыте» 20
2. Что говорилось о сути монархии в пушкинском кругу 35
3. «Я шесть лет нахожусь в опале»,...
И вот — «радостная надежда»... 38
4. Как Государь «договорился» с Пушкиным... . 47
5. «Наше всё» — как контрреволюционер... . . 64
6. «Страдальческий висок разбитой вдребезги его посмертной маски...» 71
7. «Мы все должны умереть, не высказавшись...» 79
8. Д. Мережковский о «записках»
А. О. Смирновой-Россет как важнейшем источнике к истории Пушкина 85
9. Пушкин как «политолог»: Демократия? Пустое слово... (Об аристократии и демократах, а также о Христе и христианах) 92
10. «Глупец один не изменяется...»
(Пушкин о Радищеве) 107
11. Митрополит Московский Филарет (Дроздов) и Пушкин 111
12. Пушкин и Библия. 116

13. Пушкин о проблемах Церкви в России . . .	122
14. Закатилось «Солнце»	126
15. Царь был вынужден... И: «вот как я утешен!»	137
16. Как власть воспринимала Пушкина: «великий поэт» или (и) «великий либерал»? . . .	145
17. А что думали о Пушкине ближайшие его приятели?	152
18. И всё-таки, и всё-таки... Ну почему, почему же «закатилось Солнце»?	164
ПРИЛОЖЕНИЯ	189
1. К «раздумьям и переживаниям...»	188
2. Что сказал мне как-то раз мой знакомый о. архимандрит — о пушкинском «Пророке»	193
3. Читайте, друзья, читайте Пушкина!	198
КРАТКО ОБ АВТОРЕ	208
АВТОРСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ	
Юрия Гр. Малкова (диакона Георгия)	210

Для заметок

Для заметок

Научно-публицистическое издание

**ДИАКОН ГЕОРГИЙ
(Ю. Г.) МАЛКОВ**

Путями Истины...

Выпуск I

Редактор *Евгений Степанов*
Компьютерная вёрстка *Ирина Ракитина*

Корректурa авторская

Бумага офсетная
Гарнитура *LiteraturnayaC*
Тираж 300 экземпляров
Подписано в печать 20.10.2022

Издательство «Вест-Консалтинг»
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12. Тел. (495) 978-62-75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
Комсомольский проспект, 73.